

КОНСТАНТИН И МИРЪ

РОМАН
(журнальный
вариант)

Продравшись сквозь густые спутанные заросли лещины, медвежонок выбрел на светлую поляну, за которой высились рыжие колонны молодых сосен. Медвежонок долго стоял на краю поляны, недоверчиво принюхиваясь, но запаха другого зверя не было слышно, и он медленно поковылял через бор, почуяв впереди воду. Утолив жажду в быстрой мелкой речушке, зверь побрёл вдоль берега в надежде поймать ящерицу или лягушку, а может быть, отыскать на песчаной отмели ракушку-беззубку. Голод гнал его всё дальше и дальше от того места, где он отбил от медведицы. Родившийся довольно поздно, в конце февраля, он должен был ещё сосать материнское молоко, но, потеряв мать, вынужден был есть всё подряд — коренья, прошлогодние жёлуди, молодую траву. За несколько дней скитаний он исхудал, бурый мех его потускнел, торчал клочьями, маленькие глазки слезились. Неожиданно порывом ветра до него донесло незнакомый тревожный запах. За колоннадой сосен он разглядел сложенную из брёвен берлогу. В панике медвежонок собрался было пуститься наутёк, но почуял другой запах — запах пищи — и стал потихоньку, готовый каждую секунду броситься прочь, красться к этой странной берлоге.

Старик, сидевший на пороге лесной кельи, увидев притаившегося на краю поляны сильно истощённого, видимо, обречённого на гибель медвежонка, вынул из кармана подрясника ржаной сухарь и, протянув его зверю, замер...

1. СЕЛО

Подходило время родов, а о том, чтобы везти роженицу в райцентр, не могло быть и речи. Снегов намело по грудь. Мальчишки в сугробах под толстым, таким крепким, что по нему можно ходить, настом рыли пещёры с длинными ходами

и закутками. Домой возвращались весёлые, румяные, сопливые в зазеленелых, колом стоящих штанах и забитых снегом валенках. Взрослым было не до веселья.

Отправившийся давеча на саях в соседнюю Лихачёвку Колюн едва не замёрз. Потеряв замётённые вешки, он в непроглядном снежном месиве дотемна плутал кругами от оврага к оврагу. И только к ночи, когда отчаялся и лёг на дно саней, опытная коняга сама смогла выбрести к жилью. Колюнпил с Дедом самогонку, закусывая ломтём ржаного с солью, и всё повторял:

— Представляешь, чуть не погиб ни за что, представляешь...

— Да, — Дед сочувственно качал головой, — эт уж кому что на роду...

Небывалые метели безобразничали в округе уже целый месяц. Уставая, они ненадолго превращались в подируху — стелящуюся позёмку, облизывающую колючим языком снежные увалы, но, набрав силы, снова обрушивались на землю дикой круговертью. Ночами оголодавшие волки выходили из леса к самой околице и рвали зазевавшихся собак и котов. Да что собаки! Надысь в соседней Берёзовке волчья стая в поле в клочья растерзала демобилизованного. Парень, не подумав, ночью пошёл пешком из райцентра в родное село напрямки. Не терпелось со своими увидеться, тут они его и настигли. Успев добежать до скирды, он стал жечь солому, но стая не ушла и, когда вся солома вышла, добралась до несчастного. Жуткое дело. Главное, из Берёзовки видно было, что скирда горит, но пойти посмотреть не догадались: ну, горит и горит, чего ж теперь — не потушишь...

К концу декабря село замело по самые крыши. Чахоточный трактор по утрам едва-едва пробивался по слободе, выедавая в снегу тоннели к мастерским, коровникам и правлению. Время от времени мужики помоложе с большими деревянными лопатами проходили по селу и прокапывали узкие тропки к домам одиноких стариков, которым не по силам было бороться со снежной напастью.

— Ничего, дома рóдит, — успокаивал многочисленную родню, а в общем-то, самого себя Дед. — Мало ли Матрёна приняла дома-то...

Родов ждали со дня на день, но остаток декабря таял день за днём, неумолимо приближался праздник, а живот роженицы всё округлялся и округлялся, словно бы намереваясь заполнить собой всю избу.

— Запаздывает паренёк, — вздыхал Дед и всё чаще присаживался к открытой дверке голландки почадить самосадам. Из избы Деда с его большой свёрнутой из газеты козьею ножкой дружно гнали в сени, но с прогнозами не спорили, за девять родов собственной «старухи» он не ошибся ни разу. Ну, паренёк так паренёк, но действительно запаздывал...

И только с утра тридцать первого стало ясно — скоро! Вот-вот!

Тётки, сёстры, крёстные, подружки, поспорив и покричав для порядка, сошлись на одном: в горнице холодно, сквозняки, кровать узка, так что — рожать на печи.

С толстобокой русской печки убрали всё слежавшееся там за годы тряпье — заскорузлый тулуп, драные замасленные фуфайки, которые вместо подушек бросали вголовá, пёстрое лоскутное одеяло с вылезшей кое-где ватой; сбросили потрёпанные книжки и несколько забытых номеров «Огонька», отодрали со стены жёлтые газеты с неясными текстами и портретами прошлых людей; сняли вязки лука, мешочки с калёными орехами и семечками, пучки сушёных трав, собранных незнамо в каком году и давно потерявших запах; смели застарелые тенёта, изгнав пауков-старожилов и небольшое семейство чёрных тараканов.

Печь отмыли, отскребли; отдраили выглаженные телами, прокалённые жаром кирпичи, постелили широкий пышный тюфяк, набитый духовитым летошним сеном, сверху накинули плотную дерюгу, расстелили рыжую ломкую клеёнку, а поверх — тонкое байковое одеяло и, наконец, чистую хрусткую, пахнущую морозным крахмалом простыню. В изголовье взбили две огромные пузатые подушки.

Позвали Матрёну и под строгим приглядом повитухи роженицу подвели к печке, помогли ей, постанывающей, бережно поддерживающей огромный живот, взобраться на ложе. Она откинулась на подушки, длинно вздохнула и закрыла глаза.

Все присели перевести дух и говорили вполголоса. Однако ходики тикали, стрелки всё настойчивее намекали на приближающийся праздник, и Дед приказал:

— Мать, давай накрывай на стол!

Повитуха сидела на припечной лавочке и смотрела, как тщательно выскобленная к празднику столешница заполняется снедью. Из чугунка на большое блюдо вывалили печёную картошку и бросили в неё щедрый шмат топлёного масла, вокруг поставили миски с квашеной капустой, солёными грибами, мочёными яблоками; на деревянную доску выложили крупно порезанное холодное со слезой сало с красными прожилками и крупинками соли на жёлтой коже; поставили «четверть» с мутноватым самогоном, а в центре привезённые из города поллитровки водки и бутылки тёмного вина. Наконец достали из печи чугунок с тушёной гусятиной и все сели за стол.

Роженица тихо дремала, и повитуху позвали к столу, даже налили ей полстопки водки — немножко можно. Пригубить за компанию.

Выпив, разговорились, перебивая друг друга, уплетали снедь, вспомнили давешнее приключение Колюна и троюродного дядьку, лет десять назад насмерть замёрзшего вот так в буран в двух шагах от забора собственного дома.

Дед включил радио, разлили по рюмкам и стаканам городское вино, и, когда из хриповатого динамика раздался новогодний бой курантов, все встали, принялись чокаться, поздравлять друг друга, обниматься и целоваться.

И только тут с печи раздался слабый стон, а затем и крик. Повитуха, бросив вилку с недоеденным груздем, кинулась к роженице, на полпути метнулась к рукомойнику и, брызгая водой, наскоро намылив руки коричневым обмылком и сполоснув их, полезла на печь.

Деда, ошалевшего отца и Колюна вытолкали в сени, лишнее бабё повитуха от печи отогнала и, взобравшись на лавочку, развернула роженицу поперёк печи, так что притихшие девки — сёстры, племянницы и младшие тётки увидели её жёлтые мозолистые ступни. Они слышали, как Матрёна то что-то бормочет роженице, то затягивает какую-то неясную молитву:

— Стань, благословясь, пойдя, перекрестясь, из избы дверьми, из двора воротами, во чистое поле, во синее море.

Там у Христа на престоле сидит Пресвятая Мать Богородица, держит золоты ключи, отмыкат мясны ларцы, отпускат младенца из плоти, из утробы; отпускат младенца из плоти,

из горячей крови, чтобы не чуют ни щипоты, ни ломоты, аминь.

— Воды отошли, — не оборачиваясь, буркнула она через плечо; и — роженице: — Тужься, тужься!

Время шло, роженица всё вскрикивала да стонала, повитуха то шептала что-то, то прикрикивала:

— Ну-ка, не ленись! Давай, давай!

Дед всунулся было в дверь, пустив в избу клуб пара:

— Ну, как у вас?

Но его тут же вытолкали обратно, так что он не услышал деловитого бормотания повитухи:

— Головка показалась, держу. Давай, давай, девушка, давай!

Мужики на крыльце молча курили, и махорочный дым бледными струйками уходил вверх. Дед медленным взглядом проследил, как дымки растворяются по пути к невидимому зимнему небу, и подумал про Вифлеемскую звезду. Вспомнил вдруг и себя маленьким, и собственную бабку, рассказывавшую ему сказки про Иисуса, про волхвов и про эту самую Вифлеемскую звезду... Есть она теперь, эта звезда, или нет? Вряд ли. Теперь где-то там далеко — за полями, за долами, за дремучими лесами сияет во тьме гранёным рубином кремлёвская звезда... Дед потрогал сквозь рубашку натальный крестик...

Сколько прошло времени, никто и не заметил, когда наконец в руках у Матрёны оказался младенец. Она ловко, словно куклу, повернула его на животик и звонко шлёпнула по сморщенной попке. Из рта младенца вылетел комочек слизи, и мальчишка — угадал Дед,

угадал! — закричал. Матрёна уложила его на чистый, прокалённый в печи вместе с ножницами и нитками лоскут, пережала в двух местах пуповину и перерезала её большими портняжными дедовыми ножницами.

— Здоровенький, кажись, парнишечка, — тихо пробормотала повитуха.

Тут только вспомнили про мужиков. Дверь, пыхнув клубами пара, приоткрылась, и племянница, тараща глаза, позвала:

— Идите уже! Родился!

Они вошли в тепло, ляская зубами, и полетели было к младенцу, но Матрёна осадила их:

— Куды, куды! Вон в сторонку!

Наконец в деревянной шайке она обмыла новорождённого, передала его бабушке, а сама занялась роженицей.

Внимательно осмотрела послед, удовлетворённо крикнула, обмыла его в той же шайке, завернула в заранее приготовленный платок, подала отцу:

— Положи до весны на ледник. В ведре с крышкой, да гнеток на крышку, чтоб мыши не поели. А как земля оттаёт, зарой где не ходят. Да смотри, чтоб никто не видел. Понял?

— Понял, понял, — ответил отец, нетерпеливо переминаясь и косясь на родственников, столпившихся над младенцем.

Повитуха взяла со стола лепёшку, выкусила мякиш и, хорошенько разжевав его, завернула кулёчком в тоненькую тряпицу.

— Ну-ка, — раздвинула она родню и, протиснувшись к младенцу, сунула ему влажный от слюны кулёчек в рот. Младенец, словно ждал этого, живо зачмокал...

— На печке родился — всю жизнь печальным будет, — ни с того ни с сего сказал вдруг Дед.

— И чего несёшь, Дед! — рассердилась повитуха. — Скажешь, как в лужу пёр... На печке родился — горячим будет, девки за ним табунами бегать станут. Как назовёте-то божьего пришельца?

— Константином, — быстро, словно боясь, что кто-то предложит своё, ответил Дед. — В честь отца моего, геройски погибшего в Первой империалистической...

— Ну и что, что на печке, — ввязалась в разговор тётка Галина. — У Ваниных Файка вон

вообще под коровой родила, так корова ребёночка вылизала всего, пока их спохватились. И ничего, вон какой здоровенький — тьфу-тьфу-тьфу! — растёт. А не то что печка!

Костя смотрел светло-сизыми глазами на вдруг возникший неясный ещё и перевёрнутый мир, а мир смотрел на него глазами — карими, зелёными, серыми, но по большей части голубыми — его многочисленной родни.

Так что Костя не сможет потом пошутить, мол, когда я родился, дома никого не было: папа был на работе, а мама — в больнице. Когда он родился, все были дома...

* * *

«Когда москвичи садились за новогодние столы, во Владивостоке началось утро нового года. Всю ночь на берегах бухты шла напряжённая работа. Портовики Владивостока в честь Нового года встали на Стахановскую вахту, бригады грузчиков т.т. Мишина, Моршанского, Козленко встречали первый день нового года замечательными трудовыми успехами: они выполнили задание на 150 — 200 процентов.

Первыми в нашей советской стране встречая утро большого советского дня, трудящиеся Приморья говорят:

— Здравствуй, Новый год! Мы будем трудиться ещё лучше, ещё больше, ещё упорнее, чтобы крепла и расцветала наша любимая Родина!»

(Газета «Правда» за 1 января 1950 г.)

«Новый фильм И. Пырьева «Кубанские казаки» повествует о счастливой жизни советской колхозной деревни, о силе крепости колхозного строя, о чести, доблести и героизме колхозных тружеников...»

(Газета «Советское искусство», март 1950 года)

«Тринадцатого июля этого года болгарские солдаты совершили несколько вооружённых провокаций на югославо-болгарской границе на высоте 872, в пяти километрах к северу от села Класусе и в 300 метрах к северу от дороги Стрезимиревци — Слашавци.

Около 17.30 в тот день один болгарский солдат пересек в этом месте югославо-болгарскую

границу и зашел на глубину 20 метров на нашу территорию. Заметивший это движение югославский пограничник приказал нарушителю остановиться и бросить оружие, что он и сделал и по команде пограничника пошел к нему. Как только болгарский солдат приблизился к пограничнику, стоявшему приблизительно в 80 метрах от границы на югославской территории, 15 болгарских солдат открыли огонь по пограничнику.

В это же время находящийся на югославской территории болгарин вытащил спрятанную у него гранату, готовясь бросить ее в сторону югославского пограничника. В ответ на это пограничник немедленно открыл огонь и убил нарушителя. У погибшего на югославской территории болгарского солдата был найден патрульный лист на имя Негора Венава Тодова.

В тот же день и на том же месте еще одно болгарское подразделение из примерно 50 человек пыталось около 20 часов вечера перейти на югославскую территорию. Однако эти попытки ни к чему не привели, так как болгары отказались от своей попытки нападения, когда заметили повышенную бдительность югославских пограничников».

(Газета «Борьба» за 15 июля 1950 г.)

2. ГОРОД

Конечно, Костя не мог помнить, но ему казалось, что он помнит, как отец забирал его, трёхмесячного, с матерью в Город. Ранняя весна; в берёзовых перелесках ещё белел кое-где по лощинам квёлый умирающий снег, но уже пахло смолой и половодьем, заходились в прозрачных ветвях невидимые птахи. Под скрипучими колёсами телеги плыла отсыревшая песчаная колея, а из-за спины возницы покачивался тугой в лёгкой испарине рыжий круп и нечёсанный хвост коняги... Так под скрип колёс и птичьих трели добрались они неспешно до белых стен монастыря на длинном холме.

Монастырь стерёг эти края четвёртую сотню лет. От неожиданных татар и воинственной мордвы, от шаек Емельки Пугачёва и приспешницы его Алёны Арзамасской, от лихих людишек окрестных селений, жадными взорами провожавших вереницы паломников с узелками,

с мешками снеди и нехитрых даров. Пытался сберечь и от новой власти, с провинциальным запозданием пришедшей к её стенам под страшными багряными знамёнами. Не сберёг...

Увядал старый монастырь. Вместо согнанных монахов пригнали в обитель под штыками конвоя пёстрое людское отребье — беспризорников, попрошаек, мелких воришек, — одним словом, жиганов.

Замолчали говорливые колокола, загрузили храмы, которым повезло не быть взорванными, свистя утренним гудком и звонко брякая металлом, бойко заработал рядом небольшой, но шумный заводик, и всё реже тянулись к светлым окрестным родникам страждущие с молитвами и просьбами к Великому Старцу.

А однажды небольшая группа людей, выбравшихся из похожих на чёрных жуков авто, вышла на песчаную дорогу у монастырских стен и деловито направилась вдоль реки, в спокойной воде которой отражалась молчаливая колокольня. Впереди шёл невысокий полноватый человек в шинели, на лице его хищно поблёскивало пенсне, остальные почтительно держались на полшага позади.

— Помещений под жильё явно не хватит, — сказал один из свиты, обращаясь к человеку в пенсне. А строить новое долго. Не в землянках же...

— Зачем в землянках, — с лёгким кавказским акцентом ответил полноватый, — в землянках не надо... А подумать надо. Что скажете, товарищ... — он назвал фамилию одного из сопровождавших.

— Привезём в разобранном виде деревянные дома, товарищ Берия, финские, по репарации.

— Но их же тоже строить, собирать нужно, — подал голос кто-то из свиты...

— Зэка соберут! — сверкнув линзами, отрезал Берия. — Зато быстро, а дома финны делают хорошие. Проверено.

Люди загрузились в своих чёрных «жуков» и уехали.

Прошло совсем немного времени, и поднялась в округе неясная суета. Живущая на одинокой ели белка, услышав громкие голоса, выглянула из дупла. Внизу под деревом стояла кучка людей.

— Ну, давай, — мастер кивнул одному из одетых в серое зэка.

Зэка поплевал на ладони, покрепче ухватил топор и, крикнув, вонзил лезвие в тёмную кору ели.

Белка в панике забежала по ветвям. Скрыться ей было некуда, рядом не было ни одного дерева, на которое она могла бы перемахнуть.

Зэка успел махнуть всего раза два-три, когда рядом притормозила черная «эмка». Из машины выбрался грузный человек в генеральском мундире. Все молча вытянулись перед ним.

— Зачем рубишь? — спросил генерал. — Кому мешает?

Зэка растерялся. Отвечать, что, мол, мастер приказал? Но генерал уедет, а мастер останется. Зэка мялся.

Генерал и сам всё понял.

— Не рубить! Не мешает — не рубить.

Так ёлка осталась жить, а историю об этом потом рассказывали всякому, оказавшемуся рядом, вот, мол, — забота! И показывали рубец от ударов топора на еловом боку. Ёлка и не заметила тех ударов, рану затянуло янтарной смолой, и шрам этот вместе с ростом ствола поднимался и поднимался, пока не оказался намного выше человеческого роста.

А белка осталась жить в своём дупле, не зная, конечно, что выведет тут не одно поколение бельчат, а когда умрёт от старости, своих бельчат будут выводить её потомки...

Осенью коробка дома возле беличьей ели была накрыта крышей, на кухнях устанавливали чугунные печи, проверяли дымоходы, а с первым снегом начали отделку помещений.

Ранним утром зэка Чугунов оказался в комнате один. Оглянувшись, он помуслился щербатым ртом огрызок химического карандаша, быстро вывел на стене: «Х... тому, кто будет жить в этом доме! Смерть сукам! з/к Чугунов». И моментально приложил проклеенную полосу бледно-жёлтых обоев. Он вдруг испугался: а что, если смоченная клеем надпись проявится через обои?! Но она не проявилась. Её прочитают спустя лет сорок, когда будут делать капитальный ремонт и сорвут все обои. Таких надписей в этом доме и в других будет найдено довольно много. Придёт дядька с фото-

аппаратом, всё сфотографирует. А ещё позже некоторые снимки будут выставлены в городском музее. Правда, стеснительные музейные барышни часть чугуновского творчества старательно заклеят полосками белой бумаги.

А новый Город всё плотнее охватывал древнюю обитель. Валили вокруг монастыря вековые сосны, прокладывали улицы, возводили дома, магазины... Протянулся один проспект, следом другой... На одном из них в новеньком, пахнущем деревом и белилами доме Костина семья получила квартиру. Это через пятьдесят лет будут удивляться: кому пришло в голову называть вот эту узенькую, кривоватую улицу проспектом? А тогда в захватывающем дух творческом подъёме, среди весёлых, умных, почти сплошь молодых людей, всё казалось просторным, многообещающим, светлым и успешным, обещающим небывалое будущее. Если улица, то проспект, если бомба — то царь-бомба! Ещё немного, ещё усилие, и вот он — долгожданный коммунизм!

Январским солнечным морозным днём едва ли не в один час из всех труб новенького дома повалили белые плотные столбы дыма. Жильцы радостно протапливали помещения. Окна запотели, но вскоре очистились, и лишь по краям пошли тонкие красивые узоры, обои потрескивали, но держались... После барака отдельная квартира в сухом, светлом финском доме казалась раем.

...Вскоре Город плотно окружил монастырь. Замечательный Город. Особенно хорошо и уютно было в нём, раскинувшемся в междуречье, на границе мордовских и муромских лесов, словно в зелёной колыбели, летом. Он утопал в липовых скверах, тополиных аллеях, сиреневых зарослях, слушал ночами гул корабельных сосен. Канюки и коршуны безбоязненно селились в пригородных лесах, совы ночами ухали за окнами в парках и скверах, лисы на рассвете приходили поживиться к мусорным контейнерам, а вёснами лосихи приводили лосят прямо в городские дворы. Всё здесь было, как везде, — колоколенка в центре наполовину уцелевшего монастырского подворья, Дом культуры и Дом-со-шпилем сталинского ампира, Вечный огонь, стадион, пара кинотеатров, автоматы с

газированной водой, сквер с фонтаном, в центре которого зимой и летом стояли легко одетые представители трёх человеческих рас, держа на вытянутых мускулистых руках железный земной шар; кварталы сталинок, окружённые хрущёвками, рафинадный строй девятиэтажек, россыпь финских домиков и деревенский самострой частных домишек вдоль по окраине.

Всё как везде... и совсем не так. Уйди за город, забреди в лесные дебри и везде, куда ни отправишься, вскоре набредёшь на два ряда заграждений из колючей проволоки и контрольно-следовую полосу между ними. А если немного подождёшь, то обязательно увидишь, как вдоль полосы пройдут автоматчики, у одного из которых на поводке неперенная крупная чепрачная или серая восточно-европейская овчарка. Ждать, однако, не стоит: заметят — заметут...

Костя не понимал и не мог тогда понимать, что жить ему суждено в Городе, которого не было, — в секретном городе за колючей проволокой, в котором под сенью уснувшей обители и вечных мордовских корабельных сосен ковался ядерный щит. Или меч?

Как бы там ни было, проехав на раздрыганной допотопной телеге десяток вёрст, Костя из утопавшего то в сугробах, то в непролазной грязи сельца попал в ядерный центр, в гнездилище советской науки, где лучшие мозги империи по приказу дорогого товарища Сталина и под бдительным присмотром товарища Берии из ничего ткали нечто.

3. ВРЕМЯ

Когда тебе нет ещё трёх лет, ты скорее ощущаешь себя, чем осознаешь. Вот солнечный луч, пробившись сквозь ветки заоконной сирени, выскользнул из-за узорной занавески, прокрался неслышно по пёстро-лоскутному одеяльцу, согрел щеку, пощекотал веки, вот галка за окном крикнула — хватит спать! — новый день пришёл, зеленоглазая тёплая Мурёна вспрыгнула в кроватку и принялась намурлыкивать ласковые сказки. Ты ещё не научился говорить, а всем известно — пока ребёнок не умеет разговаривать, он понимает язык птиц и зверей. Ему ведомо, отчего так тревожится ворона на высокой сосне за окном, о чём спорят

суетливые воробы и судачат бестолковые куры во дворе.

Сейчас мама, пахнувшая земляничным мылом, накормит тебя манной кашкой из тарелки, в которой плавает жёлтый кусочек топленого масла. Потом тебя оденут, вынесут на свет божий, и вот ты уже сидишь на скамеечке у подъезда. Мама с папой ушли на работу.

Снова весна, ветерок шевелит свежими ещё листьями сирени, похлопывает неснятым с верёвки давно высохшим бельём. Большой петух деловито ходит по широкому песчаному двору в сетчатой тени сосен. Пахнет плавящейся на солнце сосновой смолой, из дверей доносится запах слегка подгоревшего на плите молока, которое кипятит для тебя няня Зина — старуха пенсионерка из соседней квартиры...

Петух яркий, рыжий, с хвостом, отливающим синим и зеленым, очень нравится тебе. Хочется взять его в руки, хочется прижать его и погладить. Но у него острый, литой клюв и длинные острые шпоры на желтых крепких ногах, и тебе страшно. Ты еще не знаешь, что так будет всю жизнь — и хочется, и колется... Но в память твою навсегда впечатается этот день: и нескончаемые пригородные сосны, и сиреневые кусты у забора-штакетника, и песок, мелкой пылью разлетающийся из-под сильных лап петуха, хвойный дух и солнце, и далёкий невнятный шум города, доносящийся до окраины...

Время течёт и течёт сквозь Город, сквозь Село, сквозь людей и сквозь тебя тоже... Ты живёшь и не чувствуешь этого течения. День идёт за днём, за осенью зима, за годом год... Словно во сне — светлом и лёгком — плывёшь без забот и тревог, согретый июльским теплом, дремлешь под октябрьский листопад вперемешку с дождичком, грезишь о чём-то несбыточном, убаюканный февральскими метелями. И вдруг — весна! Вот тебе три годика, а вот уже все семь...

— Ну, Костя, гуляй хорошенько этим летом — первого сентября в школу!

Школа, прописи, чернильница-непроливайка, Анна Дмитриевна, которая знает всё-про-всё на свете, похвальный лист за полугодие, каникулы... Как, уже зима? Уж Новый год? В деревню!

— Костя! Да Коська же! — тянут за ногу, стаскивают теплое лоскутное одеяло. — Проваландаемся, последними будем, ничего не достанется...

На печке так тепло и уютно, сон так пленительно сладок, и Костя уже пожалел, что на вчерашний вопрос сестер: «Кость, славить с нами завтра пойдешь?» легко ответил: «Ага!» Но сестры безжалостно стаскивают с печи, помогают одеваться, а старшая все твердит:

— Вспоминай молитву, Коська.

И Костя в полусне ещё вспоминает вчерашний «урок»...

Рождество Твое, Христе Боже нашъ...

Под возню сестер, под бормотание бабушки у шестка, под громкий «мяк!» кошки, попавшей под ноги, сон уходит и всплывает в памяти вчерашний вечер.

В избе уютно пахнет хлебом, кошка мурлычет на коленях, за окном неслышно падает снег. Каникулы. Лицо горит, оттаивая с мороза, от полетов по ухабистой горке тело гудит, а в ушах еще стоит свист саночных полозьев и крики деревенской ребятни.

Бабушка ушла «на двор» доить корову. Там, «на дворе», вместе с коровой живут и другие деревенские кормильцы: куры, теленок, свиньи высовывают навстречу хозяйке розоватые пяточки из-за дощатой перегородки, гуси шипят из-под клетки. Зимой «на дворе» всегда тепло, а летом прохладно и пахнет сеном, берёзовыми поленьями, зерном, молоком, ну и самым деревенским запахом — свежим навозцем. Недалеко от избы пруд, который летом облюбовали гуси и маленькая вертлявая рыбка оголец, а зимой сюда прибегают ребятишки со всей деревни кататься на коньках-снегурках — у кого заводских, а у кого самодельных.

Когда бабушка вернется в избу, будет ужин. «Угостить-то по-хорошему городского внука и нечем, — сетует бабушка, — только что свое, со двора — с огорода...»

«Нечем» — это молочко, картошечка, пирожки с капустой, яйцами, луком. Суп с гусятиной, сало, варенье из чёрной смородины

или крыжовника, творог, соленые огурцы и зелёные помидорки, набранные дедом по осени грибы. И, конечно, душистый, ноздреватый, с приятной горчинкой и темной коркой круглый хлеб... Хлеб, прижимая каравай к груди, режет косыми ломтями дед. Крошки с выскобленной столешницы непременно сметёт в ладонь и забросит в рот.

Двоюродные сестры — старшая Танюшка и младшая Любашка — с набитыми ртами наперебой рассказывают о том, как прошлый год ходили на Рождество по домам, «наславили» кучу всяких гостинцев и почти пять рублей денег! Издавна к Рождеству ребятишки заучивали рождественские молитвы и рано-рано утром «по первой звезде» ходили по избам «славить Христа» — читали молитвы и получали за это сладости или мелкие деньги. Ребятишек ждали и охотно привечали в каждой избе, потому как чем чаще на Рождество молитва прозвучит в доме, тем удачнее и добрее будет наступивший год...

...Возсія мирови светъ разума: въ немъ бо звездамъ служащии звездою учахуся Тебе водети съ высоты востока: Господи, слава Тебе!

...Весь день шестого января Костя мучился в попытках заставить себя заучить молитву с кучей странных слов, и смысл которых неясен, и язык сломаешь. И вечером кучей-малой валялись на широкой горячей печи и все повторяли и повторяли молитву.

Дева днесъ Пресущественнаго раждаетъ, и земля вертепъ Неприступному приноситъ...

Так и не запомнив ни строчки, Костя принялся канючить, чтобы ему дали учить молитву покороче, но настырная и практичная сестра уверяла — чем длиннее молитва, тем больше денег дают... И уже в полудреме молитва неведомо как легла-таки на память, и Костя провалился в теплый пух сна — вставать было рано...

Ангели съ пастырьми славословятъ, волсви же со звездою путешествуютъ...

Во сне Костю вызвали к доске, и Анна Дмитриевна ласково сказала:

— Ну, Константин, расскажи нам «Рождество Твое, Христе Боже...»

Заученная насмерть молитва «отскакивала от зубов», учительница поставила пятерку и сказала, что именно так и должны учиться настоящие пионеры... А потом голосом старшей сестры позвала: «Костя! Да Коська же!..», куда-то уползло уютное одеяло, и таял сон, и уплывал из рук дневник с пятеркой...

— Просыпайся! Опоздаем! Нам ничего не достанется!!! — сестра тащила Костю с печки, день начинался. Молитва, рубашка, штаны, молитва, кофта, валенки, шубейка, башлык, сестра, молитва...

Выскачили на улицу — мороз, темно, сверкает свежий снег, кое-где от труб плывет сладковатый дымок. Первый дом. Сёстры подталкивают младшего вперёд; страшно, руки трясутся, так что стук в дверь получился как частая барабанная дробь. Сонное шарканье калош, утренний прокуренный кашель, заспанный небритый дядька провел в переднюю. Дрожащим голосом и заплетающимся языком Костя повторял молитву за сестрами. Из угла строгими глазами смотрел с иконы темный лик из-за зажженной лампадки. С серьезным лицом и стеклянными со сна глазами хозяин дома выслушал, сунул в ладошки по монетке и пошел досматривать сон.

И совсем не страшно — прилив радости и гордость за себя, такого ловкого и умелого!

Следующий дом пропустили — страшная собака рычала и скалила жёлтые зубы из-за калитки. В третьем встретили ласково. С каждым разом получалось все лучше и свободнее. Теперь уж Костя сам таскал сестер от дома к дому. И в каждом доме умильные тётки, и — то монетка из морщинистых рук, то горячий пирог, то конфеты...

И Косте — больше других. Сестренкам денежку желтенькую, а Косте беленькую, сестренкам по одной, ему — две! Да и как же не наградить такого хорошенького старательного соломенноголового мальчонку с ангельским голоском и ямочками на румяных щеках...

Сапоги полны снегом, петухи в который раз закричали во дворах, звёзды поблекли, а вос-

точный край неба за селом порозовел, словно брюшко снегирихи... И как-то неожиданно закончилась слобода и иссякли силы. Еле живые добрили до бабушкиной избы...

А бабушка уже ждёт, и уже дымятся на столе горячие ватрушки с картошкой, большие — с тарелку, смазанные желтком и маслом, с кремово-коричневатой корочкой, а в жестяных зеленых пол-литровых кружках холодное молоко. Глаза слипаются, ноги гудят, а на душе отчего-то хорошо и весело.

Сколько бы лет снегопадами ни прошлестело с той Рождественской ночи, сколько бы других девчонок и мальчишек ни ходило с той поры по заметённому селу «славить Христа», а у Кости в душе каждый раз, стоило ему приехать сюда, войти в избу и почувствовать домашний, хлебный, печной дух, будет всплывать в памяти та Рождественская ночь — сверкающий снег, дымы над домами, лай разбуженных собак, крики невидимых петухов и непонятная, но насмерть заученная молитва...

...Насъ бо ради родися Отроча младо, превечный Богъ.

Аминь.

А мир, насквозь продуваемый временем, постепенно рос, ширился, набухал. Рос, ширился, набухал Город; Костя словно надевал его на себя — дом, двор, за двором улица с другими такими же двухэтажными домами и тенистыми дворами, дальше жёлтые и салатовые пятиэтажки, магазин, аптека; если пойти вверх по улице, придёшь к нескончаемому лесу, если вниз — к неширокой речке. Летом на речке шумно и весело — взрослые и ребятишки купаются, загорают, играют в волейбол... Зимой через белое полотно русла протоптана синяя тропинка, ведущая к противоположному крутому берегу, на котором видны крыши дач учёных среди заснеженных черёмух и заиндевелых сосен. Весной вдоль по улице шумно бежали ручьи; Костя с соседскими ребятами пускали в быстрый поток кораблики, вырезанные из сосновой коры, и бежали следом — чей быстрее доплывёт до перекрёстка.

А время приносило новое лето с тополиным пухом, медовым липовым духом и тремя деревенскими месяцами с цыпками на заглубивших ступнях. И с чем-то новым — то весёлым, то смутно тревожным, то неожиданно печальным.

На Ивана Купалу Костя с двоюродными деревенскими братьями бежали вдоль пруда и сика́ли в прохожих водой из любых подручных ёмкостей — из «клизмы», из велосипедного насоса, из водяных пистолетиков; а если заставляли кого-то из сверстников на узком в три доски мостике через пруд, то сталкивали в воду. Костя босиком носился по щеко́тной траве, брызгал в тёток, идущих по мостику на обеденную дойку за околицу, в визжавших в притворном ужасе старшеклассниц, бежавших с тока домой пообедать, в старого почтальона, закрывавшего руками свою сумку, в юродивого, который смеялся беззубым ртом и грозил самодельным кнутом из размочаленной верёвки, в незнакомого деда, гнавшего по берегу пруда норовистую козу. И никто не обижался; в жаркий летний день даже приятно, когда на потное, горячее тело брызгают прохладной водицей. А если людей поблизости не было, сика́ли друг в друга, в собаку Джульку, носившуюся с ними как угорелая, сбивали водяными струйками быстрых стрекоз и оводов... Воду набирали прямо из пруда, тут же с шаткого, низкого мостика.

Утомившись от необузданного смеха и погони за жертвами, ложились голыми животами на горячие шершавые доски и всматривались в мутноватую воду, пугая друг друга:

— А вот сейчас русалка тебя за волосы — хватать!

— Утопленник!

— Водяной!

Костя шурился от серебряных бликов на тёмной воде и всем телом чувствовал, как мир легко и солнечно обнимает его, невесомо плавая вокруг бездумным сонным цветочным, сенным и молочным духом.

А вечером из-под мостика вытащили утопленницу. Семнадцатилетняя девушка утопилась прошлой ночью «от несчастной любви». Она весь день была там, под мостиком. И мо-

жет быть, безмятежно лёжа на теплых шершавых досках и глядя в воду, Костя смотрел прямо в ее печальные глаза...

Ночью, забравшись с двоюродными братьями и сёстрами на широкие полаты, Костя долго не мог уснуть.

— Если б её не нашли, знаешь, что было бы, — полусонным голосом спросил один из братьев.

— Не-а. А что?

— Она бы превратилась в русалку. Всех девушек, которые накладывают на себя руки, в русалки берут. Мне баушка рассказывала. Это уж точно...

Время — самая непостижимая вещь на свете: вот, например, лето — тянется долго, а пролетает мгновенно. И уже не на скрипучей телеге, а в «люльке» новенького отцовского мотоцикла «Иж» везли загорелого и вытянувшегося Костю в Город.

* * *

«В колхозе им. К. Ворошилова вырыто шесть траншей на 840 тонн силосной массы. Сейчас в колхозе производится облицовка траншей. Одна из них уже полностью готова к закладке силоса. На 500 тонн силосной массы вырыто траншей в колхозе «Победа». Для облицовки траншей используются деревянные обрубы».

(Газета «Ленинский путь» за 26 июня 1955 г.)

«Советская общественность отмечает исполняющееся 6 июня 80-летие со дня рождения выдающегося немецкого писателя Томаса Манна. Этой дате был посвящён вечер, устроенный правлением Союза писателей СССР, правлением Всесоюзного общества культурной связи с заграницей, Институтом мировой литературы им. А.М. Горького. Открывая вечер, К. Федин кратко охарактеризовал творчество Томаса Манна как продолжателя традиций критического реализма, поэта и публициста и борца за мир».

Участники вечера пожелали Томасу Манну новых творческих успехов. В заключение состоялся концерт».

(Газета «Известия» за 4 июня 1955 г.)

«С каждым днём ширится в Албании кампания по сбору подписей под Обращением Всемирного Бюро Совета Мира. Она охватила все города и сёла страны. За пятнадцать дней — с пятого по двадцатое февраля, — как сообщило Албанское телеграфное агентство, около четырёхсот тысяч албанцев (больше половины взрослого населения республики) поставили свои подписи под Обращением.

Сбор подписей продолжается».

(Газета «Правда» за 22 февраля 1955 г.)

4. БОГА НЕТ

...Осень захватывала Город звонкими утренниками, шорохом кленовых листьев под ногами, горками камышинских и астраханских арбузов прямо на тротуарах перед магазинами, посвистом свиристелей на спелых рябинах. Осенью всем двором словно по сигналу начинали тяпать на зиму капусту.

— Васька, паршивец, ты кружок от кадки упёр?! — раздастся вдруг утром крик за окном. — Куда дел, признавайся, опять колесо делал?

— Наташа, быстренько сбегай в «деревяшку» за солью, да бери крупную, серую, а то ты в прошлый раз «Экстру» додумалась принести — она не годится, поняла?

И слышно, как отец, побряхтывая, несёт из сарая на кухню словно облизанный временем красноватый гранитный валун — гнеток для капустной кадки. Он будет скоблить и тереть его под горячей струёй в раковине, а потом положит на подоконник обсыхать.

Ещё держится в воздухе терпкий запах листовых костров, но утренние заморозки и седой иней на зелёной ещё траве грозят приходом первого снега...

А в доме разгораются суэта и движение: в кухне горой пушечных ядер высится горка светло-зелёных кочанов, пахнущая крахмальной свежестью. Из сарая достаются большие деревянные корыта, с антресолей сверкающие, из нержавеющей стали, таяпки с отполированными ладонями ручками. Таяпки — тайная гордость отца и явная зависть соседей — изготовленные из хорошей стали, по форме похожие на старинные топоры из сказки о Царе Салтане,

они остры и тихо звенят, когда отец цепляет острие толстым ногтем.

Во дворе ребяшня весь день хрустит морковками и кочерыжками (грызи кочерыжки — зубы будут крепки, как у зайца!), а из распахнутых окон на улицу имени неведомого ученого Александровича доносится «трупп-хрупп, трупп-хрупп»: все разом тяпают капусту на засолку.

Запах соли, капустного сока, морковки, а попозже, к вечеру, и водочки, и картошечки жареной разольётся по округе, создавая ощущение праздника.

— Пап, дай потяпаю! — каждый год Костя просит таяпку, но отец не даёт, уж больно остро орудие. Но в этот раз вдруг разрешил:

— Ну, ладно, держи. Да помельче, помельче и поглубже протяпывай, но по дну не колоти — щепки будут... А вот этот вилок мы таяпать не будем, мы его целиком в кадку положим, хорошо его будет по зиме выудить из погреба, выложить на стол, распластать на крупные куски и — к картошечке да под водочку.

Кажется, рецепт на всех один, а капуста у всех по-разному усаливается. Может, и есть у каждого свой секрет, да никто не выспрашивает, каждый считает, что его капуста самая-самая!

Взрослые чужое умение хвалят, а ребяташки, конечно, своих наперед ставят: «У нас мамка капусту вкуснее всех квасит». — «А у нас с яблоками!» — «А у нас с клюквой!» А у Кости козырь неубиваемый: «Зато у нас таяпки самые красивые!» Тут уж кто спорить станет. Сработал эти таяпочки хороший отцов друг, работавший на секретном заводе, — мастер на все руки.

Все захвачены капустной кутерьмой, бегают из квартир в сарай, из сарая в квартиры. Только новенькие со второго этажа, недавно переехавшие в дом, не тяпают капусту, и их Андрюшка, Костин сверстник, грустный бродит среди ребятни. Да не жалко, у нас кочерыжек навалом, бери, пожалуйста!

Вечером взрослые гуляют, ходят друг к другу в гости, сначала говорят про капусту, кто сколько да как засолил, а потом уж и не поймешь про что...

На столе чего только нет — и холодец, и селедка, и колбаска, капуста, тушенная со сви-

нинкой. Интересно забиться в уголок и слушать, слушать, о чем говорят, как песни поют, про что спорят...

Когда бутылки на столе почти опустеют, отцов старший брат — дядя Миша — обязательно расскажет, как, служа в армии в Москве, хоронил самого Сталина. Как в марте в подмосковной казарме их в ночь-полночь подняли «в ружье». Он и представить себе не мог, что произошло. Да что там, все сначала подумали — учебная тревога. И тут сообщили: Сталин умер! Все завертелось, закрутилось, словно во сне. Красная площадь где-то у Василия Блаженного, траурные ленты на знаменах, оцепление. Несколько суток без передышки, несколько суток волна за волной серые человеческие толпы. Глядя застывшими глазами, уставившись куда-то в нездешнее, дядя Миша рассказывал, как разносилась над Москвой надрывающая душу траурная музыка, как проносили им в зелёных баках дворами — на машине не проехать! — остывшую кашу, как спали по очереди в кузовах, как тайком грелись водкой. Такого моря людей он больше никогда в жизни не видел. Порой откуда-то из переулков просачивались небольшие человеческие массы, шли на прорыв оцепления — все хотели попрощаться с товарищем Сталиным. Иногда их разворачивали, иногда пропускали, рассеивая.

В день похорон на их участок вдруг вывалилась огромная толпа. Шла она так мощно и неотвратно, что сразу стало ясно: не устоять. Как же он тогда испугался! Словно в ступор впал. Люди с безумными глазами наплывали лавой, и дядя Миша понял, что его неминуемо затрет в этом человеческом месиве, размажет по кузову грузовика; понимал, а не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Но за секунду до того, как человеческая лава с мощным «э-э-xxx!» ударилась о грузовики, он почувствовал, как кто-то подхватил его за ворот шинели и втянул в кузов. По гроб жизни с благодарностью дядя Миша будет вспоминать здоровья капитана, что спас деревенского ротозея от верной гибели. И тут — началось! Вопли, женские визги, скрюченные руки, тянущиеся к бортам качающихся машин. На карачках дядя Миша отполз к противоположному борту, перевесился, и его вырвало. Сколько же тогда

народу покалечило. Да и погибших, говорят, было немало.

Вскоре после этого их сменили, но в казармы не повезли. Велели почиститься, опраться, построили и повели в Колонный зал — прощаться с вождем. Сколько же там было народу, сколько венков и цветов! Это сейчас дядя Миша человек уже совсем городской, и в Москве бывал, и в Ленинграде, да и учился в Горьком, а в те годы кроме деревенской избы да двухэтажного военкомата в райцентре и не видел ничего, а тут такая красота — люстры, лепнина, украшения! Как он задрал голову на все эти красоты, так с задранной головой до выхода и дошел. Батюшки, а Сталин-то! И снова пожалел бестолкового парня капитан, разрешил с другой ротой еще раз пройти мимо гроба. Тут уж дядя Миша и самого Сталина разглядел, и плачущего старосту всероссийского — старичка Калинина, и хмурого Хрущева, и круглолицего Маленкова! Ой, да кого там только не было... Люди мимо гроба шли, конечно, хмурые, многие плакали, даже фронтовики.

Потом привели их в какую-то гостиницу, и тут кто где, кто в холле, кому повезло, в комнатах, а кто и прямо на лестнице — вповалку повалились и часа три отдыхали. Зато потом покормили их очень сытно и уж тогда — в казарму. Да, было дело...

Гости эту дяди Мишину историю слышали не раз, но готовы слушать снова и снова, они вздыхают и качают головами — да, вот уж повезло. А тут и отец какую-нибудь свою историю вспомнит, а потом и ещё кто-нибудь.

А из красного угла из оклада в серебряной фольге на застолье смотрит строгий лик. И если кто крепкое словцо употребит, вроде даже как морщится осуждающе. Бабушка говорит — грех! Но вот что интересно и непонятно: говорят «Боженька» — значит, «она». А на иконе дяденька с бородой нарисован...

Обе бабушки — и городская, и деревенская — подарили Косте по крестик. Не оба же разом носить. Мама посоветовала просто:

— Здесь, в Городе, этой бабушки крестик носи, а в деревню поедешь — той.

Костя так и делал.

— Это, Костя, называется «компромисс», — подарил новое слово отец.

С богом, однако, всё было как-то неясно. Родители на эту тему не разговаривали. Бабушка уверена, что Бог есть. Показывая пальцем на икону, она порой прикрикивала на Костю:

— Что ты бесишься, благая муха тебя укусила, что ль. Смотри, — указывала на икону, — Он всё видит!

Даже потом, когда в космос слетает Юрий Гагарин и никакого Бога там не увидит, упрямая бабушка, ничуть не смутившись, строго скажет:

— Господь сам решает, кому можно Его увидеть, а кому нет.

Пробовал Костя поговорить об этом с лучшим другом — отличницей и спортсменкой из соседнего подъезда Наташкой, но та свела белобрысые бровки к переносице, ткнула его в грудь пальцем и твёрдо сказала:

— Бога нет!

— Откуда ты знаешь?

— Просто нет, и всё! Наука доказала! И крестик свой выкинь, пока в школе не узнали...

Отец у Наташки учёный, стало быть, спорить с ней бесполезно.

Оставался только Дед. Но и Дед ясности в этот вопрос не внёс.

— Понимашь ли, — сидя у голландки, Дед на Костин вопрос задумчиво выпустил струйку дыма и снова затянулся. — Понимашь ли, вера — это не когда тебе сказали и ты поверил. И это даже не когда тебе доказали. Вера — это когда ты просто точно знаешь.

— Ну как же — откуда знаешь-то?

— Чувствовалась. Уверен. Вот как голод. Откуда ты знаешь, что хочешь есть? Чувствовалась, тебе никаких доказательств ведь не нужно... Или, скажем, — слегка смутился Дед, — любовь. Откуда ты знаешь, что любишь? Тебе же никто не доказал, что вот её нужно любить потому-то и поэтому. Просто знаешь, что любишь. И всё.

— А ты, Дед, знаешь про Бога?

Дед задумался, притушил скуренную козью ногу и вздохнул:

— Даже не знаю. Иногда кажется, что да. На войне особенно. А то вдруг сомнение какое-то

находит... Вот бабушка твоя точно знает. Она считает, что живым меня с войны Бог вернул.

5. НА БЕРЕГУ ПУЗЁНКИ

ОТ Дедова дома до речки Пузёнки шагов двадцать. Ну, тридцать. На её невысоком берегу кудрявится трава, над мутноватой водой стригут воздух стремительные ласточки, чья-то кошка крадется лопухами с обомлевшим пудиком в зубах. Дедов дом с голубыми наличниками и неперменными красными геранями в окнах стоял с краю села прямо напротив моста.

Весь день старик портняжничает в светлой терраске, весь день из нее доносится неутомимый стрекот старой швейной машинки «Зингер». Машинка большая, на чугунной станине, с ножным приводом, черная, изящная, с золотыми готическими немецкими буквами на тонкой, как у балерины, талии. Время от времени в терраску заглядывают клиенты, в широкие окна видно, как Дед набрасывает на них полуготовые свои произведения, что-то подкалывает, прочеркивает белым мелком, бесцеремонно ворочает их, словно манекены. Но вот солнце скатывается с чистого летнего неба, зависает над корявой ветлой, стрекот стихает, и Дед звенит в сенях ведёрком...

Оголец — небольшая, с детскую ладошку, рыбёшка. По виду что-то среднее между вьюном и пескарем. Жирная, бесчешуйная и бескостная, она легко чистится и хорошо идёт жареной с яйцами в русской печке. Ловится чрезвычайно просто. Удочка сооружается из любого более или менее гибкого прутика, к которому привязывается обычная чёрная нитка. Поплавков — из светлой щепки или обломка гусяного пера. Всё. Крючок не нужен. Прямо к концу нитки привязать «глисту» — толстого червяка-выползка, и нитку забросить в илистую воду. Оголец разыщет червя в мутной воде по запаху и жадно схватит. И тут нужно проявить терпение — не тянуть сразу удочку, а выждать и лишь потом быстро, но не резко, вытягивать рыбу из воды. Порой уже в воздухе оголец успевал выплюнуть червяка, но по инерции летел на берег...

Рыбаки садились на кудрявую травку у самой воды и забрасывали наживку. Костя хотел зачерпнуть в ведёрко воды. Но Дед не разрешил: раньше срока нельзя, плохая примета, — не поймав рыбку, воду не наливают!

По старому мосту время от времени проходили люди. Кто торопится, здороваются с Дедом на ходу; кое-кто, опершись на разошедшиеся перила, останавливается поболтать. А кто-нибудь обязательно сворачивает к берегу и присаживается на корточки рядом.

Сегодня на берег пришел Седой, и Костя сразу почувствовал, как Дед напрягся. Седой тоже чувствовал это и, если бы он был без удочки, не задержался бы. Но был он с удочкой и, пристроившись рядом, принялся ловить огольцов. Дед не то чтобы не любил Седого, но как-то сторонился. Всё село знает, что Седой сидел в лагерях, и хоть его в конце концов отпустили, но в Город вернуться не разрешили, и у местного начальства он был на подозрении. Так что деревенские старались дел с ним не иметь.

Дед и сам одно время ходил в неблагонадёжных, только узнал об этом Костя позже...

И хоть обшивал с тех пор Дед весь гарнизон секретного городка, а всё ж таки с Седым водиться опасался. Была в этом какая-то непонятная Косте трещина. Ведь совершенно ясно, что Седой, несмотря на его прошлое, — хороший человек. Стоило только посмотреть в его ясные спокойные глаза, чтобы понять это. И Дед был человек героический, тут не было никаких сомнений. Так отчего же два хороших человека, симпатичных друг другу (а Костя это чувствовал), не могут просто дружить, должны скрывать свои симпатии? Почему смелый, безусловно, Дед чего-то боялся? Почему Седой говорил с оглядкой, так, будто кто-то все время подслушивал?..

Дядя Ваня-Коммунар приходил к берегу редко, он целыми днями возился в своем знаменитом малиннике — всё что-то подвязывал, подрезал, пропалывал. Но уж если приходил — не с пустыми руками: в небольшом тазу с ржавыми пятнами на месте отбитой эмали всегда высилась горка отборной малины. Дядя Ваня-Коммунар угощал всех — ему что Дед, что Костя, что Седой. Он один со всей деревни не боялся ходить к Седому в гости.

Дядю Ваню-Коммунара считают сумасшедшим. Отчего — неясно. Он не смеется диким смехом, не гоняется за людьми с топором... Просто считает, что все люди братья и на земле обязательно наступит коммунизм. И говорит об этом всем и каждому при любом удобном случае. А сам живет так, как будто коммунизм уже наступил. Любой мог войти к нему в дом и взять что надо. Или попросить денег, и, если они у дяди Вани-Коммунара были, он их без слов отдавал. И никогда не просил вернуть. При этом ему отчего-то не давали говорить на партсобраниях, начальство его сторонилось, и однажды, когда он прилюдно обозвал председателя вором и врагом народа, его забрали в больницу. Вернулся он оттуда через полгода, но нрава не переменял, только еще горячее стал проповедовать приход коммунизма и агитировал переделать колхоз в коммуны. Тогда-то и получил свое прозвище. Что неправильного в дяде Ване-Коммунаре, Косте не понятно, ведь и в школе чуть ли не на каждой линейке говорят, что скоро будем жить при коммунизме... В общем, опять какая-то трещина между словами и жизнью. Как будто кто-то невидимый, но всемогущий заставляет людей говорить то, во что они не верят, делать одно, а думать другое.

Очередной оголец летит на траву, очередная малинка падает в рот. Дядя Ваня-Коммунар горячо спорит с Седым, и даже Дед, забыв осторожность, встречается в непонятный Косте разговор про кукурузу...

Но как же хорошо жить на белом свете! От моста тянет горячим деревом и дёгтем, запахом дыма, который смешивается с запахом сочащейся сладостью малины и травяным духом, и запахом тинистой воды, и дальним запахом подсыхающего сена. Ласточки стригут прибрежные тальники, обещая ночной дождь, снулые огольцы взбулькивают в ведёрке, мужики закуривают приятно вонючую махорку и умолкают, лишь изредка подавая голос:

— Коська, подай-ка глисту...

Когда солнце зацепилось за крышу Дедова дома и на берег выползла прохладная, пахнущая смесью полыни и крапивы тень, пришел Колюн. Руки у него грязные, лицо запыленное, а улыбка белозубая, как у Чкалова с плаката в колхозной конторе. Колюн Косте нра-

вился. Да и Дед относился к нему с какой-то сдержанной, но плохо скрываемой любовью. Открытый, улыбчивый, в тельняшке, выглядывающей из-под ворота темной рабочей рубашки, он просто лучился какой-то бодрой и дикой силой, но не страшной, а добродушной. И был неуловимо нездешним. Колюн говорил: меня ранило море, меня ранила воля. Словно неизвестное стихотворение. Колюн рассказывал про то, как служил на флоте, как поступал, да не поступил в морской институт. Хотел быть капитаном дальнего плавания, а стал капитаном комбайна «Колос». За ним, по словам Деда, бегали все девки всех окрестных сел, а он чего-то тосковал, иногда запивал и все мечтал, что поступит-таки в морской институт. Дядя Ваня-Коммунар считал, что в беде Колюна виноваты евреи, которые посасели в институтах и не дают русскому человеку продохнуть. Седой с ним насмешливо, как бы не вправду, словно с ребенком, спорил, а Дед уклончиво молчал...

Уже в слепых сумерках, когда поплавки стали сливаться с водой, рыбалка заканчивается, все, крихтя, поднимаются, сматывают корявые удочки, вытряхивают на траву нечаянно помитованных червей. Костя нога за ногу бредёт, враз устав и почти засыпая, за Дедом к избе. Булькают в ведёрке приговорённые к жарёхе огольцы, корова лениво взмывает со двора, толстый кот путается под ногами в предвкушении рыбных потрошков, льстиво трётся полосатым боком о штанину. А на поверхность сознания неспешно всплывают странные, полусознанные, неясные мысли. О Седом, о дяде Ване-Коммунаре, о Колюне. Какие они все разные, а все ж таки чем-то неуловимо и неумолимо связаны. А чем связаны — не ясно. Но ясно, что связаны. Вот Седой сидел в Сибири, а Дед не сидел, но отчего же они так похожи? И почему отсидевший Седой вроде как жалеет Деда-фронтовика? И почему дядю Ваню-Коммунара все считают ненормальным, если он хочет, чтобы все были счастливы? Какой он большой и сложный — этот мир, и здешний, видимый, и дальний — за околицей деревни, за холмами и оврагами, из которых течет к селу речка Пузёнка. Сколько в нём проживает разных людей, и каждый человек не просто так, в каждом своя история, которая была сама по

себе и до того, как ты встретился с ним, и будет после того, как он уйдет, и ты никогда не узнаешь — а что дальше? Разве что о самых близких...

Отчего-то втайне стыдясь, Костя признавался себе, что Деда любил больше, чем родителей.

6. ДЕД

Про Деда Косте сначала тайком рассказывала бабушка, сам-то он не очень любил об этом вспоминать. И только потом, когда Костя подрос и принялся приставать с расспросами, сдался. Во время войны Дед попал в плен. С железнодорожной станции где-то под Москвой шли к линии фронта. Командир — лейтенант был с ускоренных курсов, неопытный, как говорил Дед, «глупень глупенём», заблудились, устали, набрали на какую-то землянку, повалились на нары, охрану не выставили. А утром проснулись от немецкой речи. И тут, говорит Дед, летят в отдушину и в дверь гранаты. Деда спасло то, что лежал он в глубине нар, и те, что были с краю, приняли все осколки на себя...

В общем, через месяц дед оказался в Германии, то в концлагерях, то на работах у немецких фермеров. Били его до полусмерти (картофельную шелуху для друзей в концлагере из свинячьих кормушек припрятал), три раза бежал, не раз травлен овчарками, но выжил и был освобождён американцами.

Вернулся домой. И тут стали доходить неприятные слухи. То одного бывшего военнопленного забирали, то другого. Председатель колхоза коситься стал: неизвестно еще, мол, чего это ты в плену делал, не дезертир ли. А тут рядом с деревней, километрах в десяти всего, появился вдруг секретный посёлок. То есть про городок-то все знали, но его неожиданно обнесли колючей проволокой в три ряда, контрольно-следовой полосой, и, говорят, начали строить огромный подземный атомный завод. Требования по благонадёжности к жителям окрестных сёл резко повысились. Дед ждал, когда за ним придут, — перестал спать, похудел, осунулся...

И вот, рассказывала бабушка, как-то в воскресенье сидели они в передней, чай пили, глядь в окно, а по дороге пылит чёрная легковая

машина. И прямо к их избе. Вот прямо к этому самому их дому, что на берегу Пузёнки. Дед чашку выронил, и словно паралич его разбил, а бабка бросилась узел собирать — подштанники там, сухари, махорку... Входит в избу генерал, за ним — двое офицеров. Такой-то такой здесь живет? Здесь. За Деда бабушка отвечает, Дед сидит белый — ни встать, ни слова сказать не может. А генерал говорит Деду: правда, что вы хороший портной и офицерскую форму шить умеете? Правда, опять же отвечает за Деда бабка. А генеральскую шинель быстро пошить сумеете? К праздникам? Тут уж до Деда дошло, что арестовывать его никто не собирается, вскочил, за сантиметром, за тетрадкой своей бросился — мерку снимать. Да я, говорит, вам её за неделю сверстаю! В общем, хэппи-энд. Генерал обмеренный уехал, Дед с радости напился, а через час вся деревня только и судачила, что про дедову удачу. К вечеру сам председатель колхоза явился, потряс пьяного Деда за плечо: «Ты тёсу просил на крышу, есть тёс-то, приходи в правление — выпишу...»

Дед, окончивший, как он сам говорил, четыре класса с коридором, хотел вывести «закон погоды» — понять взаимосвязимость летних дождей и зимних снегопадов, рассчитать алгоритм прихода осенних заморозков и слякоти мартовских оттепелей, определить циклы урожайности яблонь и вишен в своём богатом саду. В больших конторских книгах, пахнувших канцелярским клеем и мышинным помётом, он вёл нескончаемый фенологический дневник, скорее всего даже не подозревая о существовании науки с названием «фенология». Корявым почерком, старательно выводя фиолетовыми чернилами слова и цифры на серой бумаге железным пером №86, он вёл хронологию окружающей жизни, вписывая иногда для памяти события, совсем не относящиеся к погоде. И следом за строчкой «16 апреля. Ночью 5 градусов тепла, а днём потеплело до 18, ветра нету, дождя тоже» могла появиться и такая: «На Паску пропал Саня-Кнут, бабы бают, ушёл в Город на камешек Преподобного. Дурак он и есть дурак».

Саня-Кнут был юродивым. Может быть, последним юродивым двадцатого века. Ходил в обносках, зимой и летом — босиком; в сумку

собирал всё, что ни найдёт или что подадут. Не попрошайничал, был добрым и невнятно разговорчивым. И никогда не расставался с самодельным верёвочным кнутом, за что и получил прозвище.

Дед, когда сильно сердился на Костю за детские его не всегда разумные проделки, выговаривал в сердцах:

— Да у тебя понятия совсем нету! Вырастешь — будешь как Саня-Кнут с голым пузом ходить.

Как и положено юродивому, был Саня-Кнут истово верующим. И была у него мечта — попасть на камушек Великого Старца — в Городе, спрятавшемся за колючей проволокой. Мечта попасть туда была из области несбыточных. Но не зря старые бабушки говорят: вера чудо творит. Да, на Паску Саня-Кнут вдруг из села пропал.

А через месяц его привезли на военном «газике», под конвоем провели в правление колхоза, а потом опять посадили в «газик» и увезли. Верёвочный кнут, как заметили немногочисленные свидетели происшествия, был при Сане... После этого юродивый сгинул окончательно...

И только значительно позже тайное стало явным.

Прямо под Паску юродивый лесом добрался до колючей проволоки, опоясавшей Город, и три дня выскивал лазейку. Безрезультатно. Один раз в него даже стрелял узкоглазый темнотный солдат — то ли киргиз, то ли якут. Но не попал.

В конце концов Саня набрёл на железнодорожную ветку, по которой в Город по ночам ходили время от времени составы. Тут он и понял, как проберётся за колючку. Выждав, когда к отстойнику пригнали состав с лесом, он нашёл платформу с самыми большими брёвнами и ухитрился пробраться в щель между стволами. Конечно, там его непременно должно было раздавить во время движения. Но не зря в народе говорят, что Бог заботится о дураках, пьяных и Соединенных Штатах Америки. Поскольку юродивый сродни дураку, Бог, видимо, пожалел Саню, и его не раздавило брёвнами, не унюхали овчарки, не пырнул длинным железным штырём бдительный солдат на КПП. Когда состав пришёл на товарную станцию, была ещё ночь, и Сане удалось незамеченным вы-

браться из брёвен и так же не обнаруженным уйти со станции.

Недели полторы он жил в самодельном шалашике в лесу у камешка Старца, неустанно и горячо молясь неизвестно о чём. Однако когда кончилась принесённая в котомке еда — сухари, печёная картошка и печёные же яйца, пришлось идти в Город. Тут-то его и забрали. Для интеллигентных жителей научного Города в диковинку оказался грязноватый человек в рубище и с кнутом на плече, который стоял у магазина и ласково просил хлебушка.

Конечно же, Саня-Кнут был моментально задержан, доставлен куда следует и кто следует его допросил. Долго не могли поверить, что оборванный человек не американский или на худой конец английский шпион. Несмотря на то что Саня-Кнут подробнейшим образом описал, как проник в город, показал шалаш, в котором жил, и рассказал, кто он и откуда, «рыцари плаща и кинжала» долго отказывались признавать реальность его истории и усердно строили версии шпионского направления. Саня, однако, всем улыбался, ничего не боялся, охотно и многословно отвечал на все вопросы и вышел из себя лишь однажды, когда люди в погонах отняли у него кнут. Он так орал, рыдал и колотился в судорогах, что кнут ему вернули и больше отнять не пытались.

В конце концов Саню посадили в «газик», привезли в село и предъявили правлению колхоза с председателем во главе для опознания. Со шпионской версией пришлось-таки с большим сожалением расстаться...

Куда увезли Саню, так никто и никогда не узнал. Говорили только, что, садясь у крыльца правления в «газик», Саня-Кнут беспечно и счастливо улыбался. Еще бы, его несбыточная мечта сбылась. «Газик» повёз его в неизвестном направлении, а оказавшиеся около правления случайные старушки тайком крестили воздух ему вслед...

С тех пор его никто никогда не видел. Вроде и никчёмный был человек, а село без него словно погрузнело...

...Берёзы, посаженные Дедом на берегу Пузёнки, вырастут большими и кудрявыми, берег будет всё таким же зелёным, но самой речки не

станет. Русло высохнет и зарастёт травой, старый деревянный мост постепенно разрушится, чуть в стороне возведут новый — бетонный. Колюн повесится, когда Косте стукнет пятнадцать. О его смерти будет много пересудов, но Костя так никогда и не узнает причины его ухода, хотя в душе и теплилась догадка о том, что ему слишком тесно стало в нашем узком, душном и грязноватом сухопутном мире. Дядя Ваня-Коммунар пропадёт однажды зимой, когда Косте исполнится семнадцать. Его найдут весной в поле с пробитой топором головой. Малинник его постепенно придёт в запустенье и выродится. Коммунизм не только не будет построен, но и сам социализм, как дяди Ванин малинник, начнёт сходить на нет. Седой исчезнет из жизни села тихо и незаметно. Вроде бы его реабилитировали, он вернулся в Город, где и умер. Пройдёт время, и об этих людях никто уже и не вспомнит с жалостью и печалью. Время безжалостно и всесильно, лишь память может поспорить с ним, да и то не всегда...

* * *

«Второй месяц не работает водоразборная колонка у речки Пятёрихи. Поэтому жители Демьянки вынуждены ходить по воду на речку. Но такие «походы» не под силу людям пожилым. Да и дорожка к проруби опасная с крутым спуском. Вот и вынуждены некоторые старушки растапливать снег на плите, чтобы хоть немного получить воды. Обращались мы в горкомхоз с просьбой отремонтировать колонку, но там на нашу жалобу — ноль внимания».

*(Газета «Ленинский путь»
за 26 февраля 1960 г.)*

«Созданное в Сталинабаде музыкальное издательство выпустило в свет первую книгу нот. В неё включены лирические песни композитора Сабзанова на русском и таджикском языках. Произведения рекомендованы для концертного исполнения, для репертуара художественной самодеятельности и музыкальных училищ.

Около пятидесяти песен, романсов, кантат подготовлено сейчас к печати новым музыкальным издательством страны».

*(Газета «Вечерняя Москва»
за 2 августа 1960 г.)*

«В соответствии с планами по изучению космического пространства 19 августа 1960 года в Советском Союзе осуществлён запуск второго космического корабля на орбиту спутника Земли. В кабине, оборудованной всем необходимым для будущего полёта человека, находятся подопытные животные, в том числе две собаки с кличками Белка и Стрелка».

«19 августа в Москве, в Колонном зале продолжился судебный процесс по уголовному делу американского лётчика-шпиона Френсиса Г. Пауэрса...»

Военная коллегия Верховного суда СССР признала Френсиса Г. Пауэрса виновным в преступлении, предусмотренном ст.2 Закона Союза ССР «Об уголовной ответственности за государственные преступления», и приговорила его к 10 годам лишения свободы с отбытием первых трёх лет наказания в тюрьме».

(Газета «Правда» за 20 августа 1960 г.)

7. СКВЕРНАЯ ИСТОРИЯ

В начале, как уже было сказано, здесь был лес. Южная окраина тайги смыкалась с дремучими муромскими лесами, в которых доживали век одряхлевший, потерявший силу Соловей-разбойник и сама в себя уже не верящая кикимора. То татары, то мордва селились тут на полянах светлого соснового холма, жили недолго и уходили, оставляя после себя битые черепки, медные бляшки да круглые поляны-керемети с пёстрыми тряпицами на ветвях. Потом на взгорок между двух речек — одна пошире, другая больше похожая на заросший лещиной да ивняком ручей — пришли монахи, вырыли землянки и стали молиться Богу. Приходили злые люди, грабили и прогоняли монахов, но те вновь и вновь возвращались, чувствуя неизъяснимую притягательность этих светлых сосновых косоогоров и чудный вкус воды в многочисленных родниках. И в конце концов мало-помалу вырос между речек монастырь. А когда пришло время, на самом светлом и сухом месте за стенами обители появился и погост.

Когда под стены монастыря пришёл город, кладбище сровняли с землёй, часть его закатали в асфальт и назвали площадью Ленина. С

северного края площади возвели здание дворца культуры пышного сталинского ампира, в центре спиной к культуре поставили бронзового Ильича, который энергично вскинутой рукой указывал на посаженный весёлыми, бойкими комсомольцами большой сиреневый сквер. Летними вечерами, следуя указующей длани вождя, в сквер группами и поодиночке тянулись горожане — парочки уединялись на спрятанных в узких сиреневых закоулках скамейках, мамы с колясками фланировали по центральному аллеям, малышня кучковалась у фонтана. Где-нибудь в самой гуще кустарника, постелив на траву газету, непременно располагались по трое-четверо с бутылкой «беленькой» мужики. Сырок «Дружба», четвертинка ржаного, иногда килька в томате — что ещё нужно для спокойного культурного отдыха простому рабочему человеку. Пили из принесённых с собой гранёных стаканов или из спрятанных в кустах с прошлого раза майонезных баночек, слушали жизнерадостные детские крики, доносящиеся от фонтана, и неспешно беседовали. О смысле жизни, о заводских делах, о Хрущёве, ну и о бабах, разумеется...

Совершенно неизвестно, отчего скульптурную группу в центре фонтана прозвали «Три китайца», ведь из трёх бронзовых персонажей, державших на поднятых мускулистых руках бронзовую планету, китайцем был только один — гибкая девушка в приталенном платьице и брючках в облипку. Вторым был курчавый нарочито губастый негр в набедренной повязке, а третьим — крепкий парень славянской внешности.

Комсомольцы, разбившие сквер, превратились в солидных мужчин и женщин, когда очередному городскому голове пришла в эту голову идея: именно там, куда указывал Ильич, построить новое здание Горсовета. Негоже советской власти, а тем более городскому комитету партии заседать в пропахших ладаном и воском монастырских стенах. «Наверху» идею одобрили, но, когда об этом узнали горожане, разразился скандал. Как же так — разбитый первыми комсомольцами к юбилейной дате сквер похерить?! И полетели письма трудящихся в Горький и Москву, и развернулась битва между советской властью и горожанами. Пар-

тия благоразумно отступила в сторонку, мол, как народ решит.

Казалось, что возмужавшие комсомольцы победили, и шум вокруг затей утих.

Но дождливым октябрьским утром в сквер въехали бульдозеры и буднично приступили к работе.

Отец приходил со стройки расстроенный, немногословный. Все понимали, что решение принимал не он, что всё сверху. Однако ж руководить стройкой выпало именно ему, и никак он не мог приноровиться к своему положению. И не виноват, кажется, но всё же, всё же...

— Неправильно это, — мама и сочувствовала отцу, но и была за правду. — Им же обидно, обу-страивали сквер, сирень сажали, берёзы, клумбы... Всё-таки первые комсомольцы города, сплошь учёные и инженеры... Уважать бы надо...

— И ты туда же, — раздражённо огорчался отец, — понимаешь ведь, что я решений не принимаю! Я и сам бы другое место предложил, да кто ж послушает! И чего я в строительный пошёл! Говорил ведь отец: иди в мясомолочный!..

— Спорите! — встревала в разговор бабушка. — Комсомольцы... Сквер... А нет бы подумать, что всё там на месте кладбища — и сквер этот, и дом твой новый для исполкома... Знаешь, как люди уже всё это прозвали — «скверная история».

— Да понимаю я, только сделать ничего не могу. У самого душа болит. Вчера опять ворох костей откопали и три черепа...

— Гос-споди! — бабушка уходила в свою комнатку и слёзно молилась перед образами, прося прощения за безбожников, что населили намоленную святую землю.

Но не зря в народе говорят — сила солому ломит. Побурчали-побурчали, да и смирились. А «скверный» дом получался красивым — четырёхэтажный, светло-серый, просторный, он с каждым днём всё увереннее вставал перед широкой площадью и снисходительно смотрел на памятник человеку с протянутой куда-то вдаль рукой, за спиной которого уже давно укоренился, опершись на белые колонны, массивный Дом культуры. Эти два здания разных

эпох — сталинской и брежневской — словно уравнивали площадь.

Летним воскресным днём, когда родители уехали в деревню, Костя с друзьями отправился на отцовскую стройку.

— Вот раньше церкви строили для попов, — рассуждал, протискиваясь в дыру в заборе, всезнающий Генка, у которого отец настоящий полковник, — а теперь во какие дома для народа строят.

— Для какого народа! — фыркнула Наташка. — Тут исполком будет сидеть и партия.

— Так не попы же, — возразил упрямый Генка и полез по шаткой деревянной лестнице в окно первого этажа. Через парадный вход идти нельзя, мог увидеть сторож.

В холле уже возвели бетонную лестницу, но и тут Генка полез на второй этаж по оставленной строителями деревянной — так интереснее же. Все гуськом полезли за ним.

Пахло побелкой, цементом, кирпичом, стружкой и краской; в воздухе, пронизанном солнечными лучами, бьющими в незастеклённые ещё окна, танцевала золотая пыль, ласточки с пронзительными криками влетали в здание и уносились на волю.

— В догонялки! — громко просипела Наташка. — Чур, я не вада. Костык вадит, он отстал и ниже всех. Только не орать — сторож услышит.

И ребятня бросилась врассыпную по этажам и кабинетам, в которых через год рассядутся солидные люди в пиджаках и галстуках, будут перебирать важные бумаги и сердиться на многочисленных бестолковых просителей. Костя летал по коридорам, находил друзей в тёмных закоулках и просторных залах, хлопал по плечу и удирал, его догоняли, и он снова вадил... Удирая от вады, он, уже слегка задыхаясь, выбежал на дальнюю лестничную клетку четвёртого этажа и, с лёту шагнув вперёд, понял с ледяным комом в груди, что лестницы под ногами нет, а далеко внизу, на первом этаже, высится куча битого кирпича, бетона и арматуры! Падая, он зажмурился и сжался в комок, но ни удара, ни боли не почувствовал — сверкнуло кроваво-красным и ослепительно белым, гулко зазвенел колокол, и всё исчезло в непроглядной темени.

II

Слава богу, когда стемнело, лес остался далеко за спиной, и двум припозднившимся путникам не так боязно стало брести заснеженной пустошью в свою деревеньку, уже — во-о-н, во-о-н! — показались из-за пологого холма избёнки, крытые соломой. Да и луна, взошедшая над уснувшим миром, хорошо освещала дорогу. Не слышно было ни дальнего волчьего воя, ни криков совы, ни разбойничьего посвиста, ни визга полозьев, только снег мерно и мирно скрипел под лаптями. Эти двое уже порядком устали и шли молча. Тот, что постарше и повыше, нёс за плечами большую вязанку хвороста, второй, маленький и беспокойный, всё время поправлял то тощую котомку на боку, то топор за лыковым поясом.

Вдруг большой резко, словно споткнулся, остановился. Он заметил, что впереди серым силуэтом ползла по насту его собственная тень. А ведь луна-то светила спереди. Она серебряным алтыном зависла далеко впереди, над едва различимыми крестами и куполами дальнего монастыря. Большой обернулся и обомлел: другая луна — бледно-оранжевая — медленно плыла над оставшимся позади лесом. Маленький тоже обернулся и, увидев вторую луну, испуганно бухнулся на колени. Господи, спаси, Господи, спаси, Господи, спаси!

Большой, уронив вязанку, подхватил меньшего за ворот драного тулупчика, и оба со всех ног бросились к деревне. Запыхавшись, с колотящимися сердцами добежали до околицы и принялись неистово колотить в дверь крайней избёнки, до смерти перепугав её обитателей.

Но когда те в исподнем выскочили на крыльцо, второй луны над лесом уже не было. И сколько незваные ночные гости ни твердили потом о виденном чуде, им и верили, и не верили. Однако ж каких только чудес не бывает на божьем свете...

1. КОГДА СМОЛКЛИ КОЛОКОЛА

Солнце щедро разбрасывало дешёвое серебро по рябому зеркалу пруда, лес пошум-

ливал и хлопотал за мельницей густой листвой, недовольно бормотала вода в мельничном колесе; высоко-высоко в прозрачной синеве парил и пронзительно покрикивал канюк, из гущи леса ему отвечала подруга, дятел что-то выстукивал азбукой Морзе по сосновому стволу, в самой гуще пробовала голос невидимая кукушка. По неширокой плотине, едва разъезжаясь, поскрипывая, тянулись телеги — в одну сторону с зерном, в другую с мукой.

— Мельник, он кто?.. — мужичок в замызганной рубахе и плисовых заплатанных портах вполголоса, искоса поглядывая в сторону покряхтывающего мельничного колеса, втолковывал собеседнику — толстому здоровяку, расположившемуся в телеге на сером, сильно поношенном армяке и неспешно жующему ломоть ржаного с солью.

— Кто? — без особого интереса поддерживал тот беседу.

— Вот то-то — кто! Всякий мельник — или колдун, или знает с нечистой силой. Это уж я тебе верно говорю, и не сумлевайся!

— Да хоть бы и так! — здоровяк кинул последний кусок в рот, полный крепких зубов, стряхнул с бороды крошки на лопатистую ладонь и отправил их туда же — в рот. — Мне-то что, лишь бы мука была хороша, а мука у здешнего мельника хороша. Да и плату берёт справедливо.

— А ну как он её, муку-то, заговариват? Что тогда?

— Ну и кой ляд ты сюда зерно привёз? Вёз бы в Ковалдово, туда и ближе...

Мужичок смущённо заморгал, пожал плечами и отвернулся к пруду, где плавали мельничовы гуси и утки. Сказать было нечего, мельник, взявший эту не старую ещё мельницу с колесом верхнего боя в аренду у монастыря, поставил новые жернова, регулярно чистил мучной ларь, строго смотрел за механикой и держал её в полном порядке. И хотя монастырь не установил твёрдую плату, много за помол не брал.

— Не-ет, здешний мельник мужик справный, срушный и всё по-честному, куда там ковалдовскому... Только жалко его.

— А что так? — оживился заплатанный. — Чего жалко-то?

— А ты не знаешь? Тут все знают. Ну, как бы тебе сказать; была у него дочь-красавица. Прямо настоящая пава — и лицо, и коса, и походка. Что ты! Любил он её и холил, жалел, без матери росла. Да... И вот увидел её барин. Бают, тутошний барин, из Лихачёвки. И человек-то лядаший, ладно только что богат, да разодет, да с тросточкой серебряной, да в белых перчаточках — лощёный, как француз.

— Эт как — лощёный?

— Да стрикулист. На мельницу повадился каждый день — и с делом, и без дела. Обхаживал Алёну и так, и эдак, платки ей ситцевые дарил, ленты красные. А она — никак. Может, баринок ей и нравился — дело молодое, да мельник с них глаз не спускал. В общем, чего долго рассказывать. Не углядел мельник. Понесла Алёна от барина, а барин как узнал — так и пропал сразу, будто его и не бывало. Вот...

— И как же?

— Да как — утопилась Алёна, куда ей было деваться. Искали её до-олго... Мельник до самой зимы искал, почитай весь пруд на лодке обсмотрел, всё багром протыкал, но нет — не нашёл...

...Солнце упало за лес, зацепилось за ветви дальних елей и догорало в самой гуще жарким костром, когда последняя телега, гружённая мешками с мукой, заковыляла по плотине. Хозяин телеги — давешний здоровяк оглянулся на мельницу. Мельничное колесо не скрипело, остановленное до утра; сам мельник недвижно сидел на берегу и смотрел на темнеющую к ночи воду.

— Ишь ты, вот ведь как оно, — здоровяк вздохнул и отвернулся...

...Незаметной чередой годы текли и текли сквозь этот лес; то шумела вода в мельничном колесе и с зари до зари колготился крестьянский люд, то завывала вьюга в трубе полузаметённой мельничной избы. И казалось, что будет так всегда. Вечно.

Да не зря говорят: ничто не вечно под луной.

Вдруг в одночасье мельница остановилась, пропал мельник, перестали скрипеть телеги по

узкой плотине. Пришли незнакомые люди, прибили к коньку мельничной избы красный флаг. Мельница вновь было кое-как заработала, но безлунной ночью подкрался к избе неведомый человек, бросил под стену бутылку с керосином, и полыхнуло так, что не прошло и часа, как от дома не осталось и брёвнышка.

Утром бродили окрест серые люди с винтовками, искали чего-то, да ничего не нашли, и пруд опустел.

Да и до пруда ли, до сгоревшей ли мельницы было; времена пошли беспокойные, страшноватые, тёмные. По присыпанной некогда мучной порошей дороге то конный отряд непонятно каких людей проскачет с гиком и воем, то нестройная колонна в серых шинелях и странных шлемах со звездой во лбу вразвалку устало пропылит — кто в сапогах, кто в лаптях. Обросшие пугливые незнакомые люди разожгут костёр на берегу и спят вполглаза-вполуха. И непонятно, чего больше бояться — волков ли, расплодившихся за два-три года невероятно, лихих ли неожиданных людей. Ни воду из пруда не брали, ни рыбу тут не ловили — знающие люди наказывали: нельзя, попьёшь чаю из этой водицы — как раз утопленница порчу наведёт! Видели, говорят, мельникову дочку лунными ночами, да не раз видели. И голос слышали. Будто бы зовёт она тоненьким жалобным голоском: «Ба-а-ари-ин!»

А за лесом всё реже раздавался колокольный звон; по всему обитель доживала свои последние деньки. По первости, со значительным опозданием добравшись в мордовско-нижегородскую глубинку, новая власть чувствовала себя неуверенно.

Началось всё в соседнем женском монастыре.

...Третий день обитель гудела как улей. Сестры собирались по кельям, разговоры то гасли, переходя на опасливый шепот, то разгорались до злых выкриков.

— Ну что же делать, — глядя на всех добрыми карими глазами, говорила матушка Ефросинья, — раз такая власть пришла, ничего не поделаешь. Терпеть надо, сестры. Бог терпел и нам велел...

Слыша такое, пожилая сухошавая монахиня Пелагея хлопала себя по рысе и, задыхаясь от возмущения, шипела:

— Они, калганы здоровенные, пьяные, под забором валяются, а мы за них работай?! Да ни в жисть на большевиков работать не стану! Хоть стреляйте меня!

И снова беспокойным пчелиным гулом ка- тились тревожные разговоры в стенах мона- стыря, выплескиваясь и в мирскую жизнь, по измам прихожан. Поводом для монашеского бунта стало решение новых безбожных властей выгнать монахинь на уборку общественного урожая.

— Вы подумайте, — распаляла саму себя и сестер Пелагея, — отчего вдруг на поля выйти некому стало? Да на той неделе в Ковалдове большевики спиртзавод реквизировали. И так дореквизировались, что вся округа от беспро- будного пьянства не просыпается! Когда до спирта дорвались, так двое в чанах спиртовых насмерть утонули!

Ахая, сестры ужасались наступившим в жиз- ни страшным переменам и с тоской думали: что-то будет дальше. Однако при всем страхе и неуверенности в будущем все сильнее они ощущали потребность в неповиновении, в же- лании жить, не замечая новых крикливых и злых хозяев жизни. Они и представить себе не могли, что ждёт большинство из них через не- сколько лет...

Сырым октябрьским вечером за Пелаге- ей пришли люди с ружьями и быстро, не дав опомниться остальным сёстрам, увели... Хоте- ли пресечь смуту, устранив зачинщицу, но ис- кра неповиновения, вспыхнувшая в монасты- ре, разгорелась ещё сильнее.

Наутро толпа монахинь и мирян окружала «советскую власть», заседавшую в бывшем купе- ческом доме, и начальник милиции, бледнея, трясущимися руками выковыривал из кобуры пистолет. Казалось, еще минута — и прольёт- ся кровь. И тут из-за спин сестёр выдралась Рафаила и с криком: «Чтобы и семени твоего на свете не было!», с силой ударила «уполно- моченного», не успевшего спрятаться за на- чальника милиции, коленом между ног! Толпа ахнула, пострадавший выпучил глаза и присел. Начальник милиции выдрал наконец из кобу- ры пистолет, и над головами людей грохнули

выстрелы. Все на мгновение застыли, и этого мгновения «советской власти» хватило, чтобы, быстро протиснувшись через толпу, оставить поле боя...

Поздним вечером при свете керосинки пред- седатель исполкома, мусоля карандаш и шеве- ля губами, медленно выводил на серой бумаге амбарной книги:

«На основании постановления Исполни- тельного к-та уездного Совета о привлечении для уборки полей свободному населению уезда и в частности на основании распоряжения осо- бой на этот предмет комиссии о мобилизации 600 монашек для посылки на уборку полей тов. председателем Ардатовского Исполкома Ве- селовским было приступлено к проведению в жизнь этих мероприятий, причем Веселовским были объяснены уже вторично цели этой тру- довой мобилизации и даны подробные разъяс- нения положению уезда в продовольственном отношении. Несмотря на просьбы и увещева- ния оказать помощь семьям красноармейцев и беднейшему населению, монашки категориче- ски отказались, порицая при этом Советскую власть.

Видя полнейшее нежелание монашек ис- полнить постановление Исполнительного к-та, тов. Веселовский с собрания ушел в кан- целярию н-ка милиции. Не прошло и 5 минут, как огромная толпа монашек в числе около 200 человек вышла из стен монастыря и нахлыну- ла на вышедшего в это время к воротам тов. Веселовского с требованием освободить аре- стованную вечером 4 сентября монашку Пела- гею Тимофеевну Пестову за провокационное деяние по осуществлению мероприятий для уборки полей и за угрозы растерзать тех, кто даст списки монашек, могущих вести полевые работы. На многократное предупреждение и просьбу н-ка милиции, мою и тов. Веселовско- го толпа не расходилась и все больше росла и угрожала; собравшихся было около 400 чел., из коей раздавались призывы к насилию. Одна из монашек, подскочив, очевидно, с злым на- мерением, была остановлена т. Веселовским и передана присутствующему в это время сторо- жу Волостного совета Константину Еремину.

В это время вся толпа окружила нас и сторожа Еремина, и из этой толпы кто-то с силой ногой ударил т. Веселовского в ход деторода. В это время озверевшая толпа на нас набросилась, хватая тов. Малышева за горло и руки, остановить эту толпу только удалось после двух выстрелов в воздух. Этим замешательством в толпе мы воспользовались и ушли в здание под названием «Дом купчихи Долгинцевой».

Безусловно, эта толпа была подготовлена известными личностями, из коих удалось заметить монахиню Рафаилу, которая еще перед собранием шныряла по кучкам монашек и к чему-то их призывала тихим голосом...»

...Веселовский вышел на крыльцо уездного исполкома, довольно улыбаясь. Как же! Вот и он теперь вправе считать себя лично пострадавшим за дело революции. Ходил он всё ещё несколько враскоряку, но это пройдёт, а документ останется. Он развернул сероватую бумажку с только что оттиснутой сиреновой печатью и с явным удовольствием перечёл ровные чёрные реммингтоновские буквы:

«УДОСТОВЕРЕНИЕ.

Дано сие члену Президиума Исполкома тов. Веселовскому в том, что ему было нанесено лечение удар по левому яичку, который ощущается боль небольшое вздувание и синяк, по заявлению т. Веселовского был нанесен из-за толпы монашек 5 сентября с.г. в монастыре — Заведующий Больницей Малышев.

С подлинным верно Секретарь Уездисполкома Иванов».

Пелагею, подержав некоторое время в тюрьме в Нижнем Новгороде, той же осенью отправили на север, но крепкая злая старуха выдержала все мытарства и умерла лишь через пятнадцать лет в ссылке в небольшом среднеазиатском ауле от перитонита. Рафаилу арестовали через три года и сослали в Сибирь, где она и пропала бесследно. Веселовского расстреляли в тридцать восьмом как японского шпиона и члена подпольной антисоветской группировки. Женский монастырь окончательно закрыли, и по всему пришла пора мужской обители.

Свыше пришла команда ценности монастырские собрать, составить опись, погрузить на телеги и немедленно вывезти в Саранск. Всё, что братия не успела попрягать по тайникам и подземельям, сложили в патронные ящики и погрузили на телеги. Обоз в сопровождении отряда красноармейцев отправился в ночь, медленно втянулся в лес, направляясь в сторону монастырского пруда. И исчез. Ни в Саранске, ни где бы то ни было ещё ни сокровища, ни охранявшие их люди не объявились...

Всё изъятые в мельничном пруду либо в окрестных оврагах и бочагах, решил народ, но искать пропажу отчего-то не стали...

Ходили... ходили слухи, что в уже закрытый, обнесённый колючей проволокой и засекреченный Город очень настойчиво пытался попасть неизвестный человек, якобы из той самой красноармейской команды, но когда понял, что привлекает к себе слишком большое внимание КГБ, — быстро исчез. А может быть, и не бывшие сокровища интересовали неизвестного. Поговаривали, что изловили в соседнем селе настоящего шпиона.

Был ли на самом деле шпион — кто его знает...

Прошло время, и люди, приехавшие сюда со всей России, стали называть пруд Озером, не догадываясь, что стояла здесь когда-то монастырская мельница, и не ведая, что, может быть, где-то в его торфянистых недрах действительно хранятся монастырские сокровища...

* * *

«Число безработных среди молодёжи во Франции увеличилось в два раза за один только год. Одной из причин этого, пишет «Юманите», является замедление темпов экономического развития страны. На 1 апреля 1965 года официально насчитывалось 9800 юношей и девушек моложе 18 лет, которые не могли получить работу, в то время как на 1 апреля 1964 года это число составляло 4900 человек. Наиболее серьёзное положение сложилось в департаментах Верхняя Марна, Нор, Марна, Эндр, Бельфор».

(Газета «Знамя коммунизма» за 15 сентября 1965 г.)

«Совхозы района квартальный план сдачи молока выполнили на 117,9%, мяса — на 142%.

В предмайские дни продавцы магазинной и работники чайной стараются работать лучше и быстрее обслуживать покупателей.

— В эти дни в магазины райпотребсоюза поступили мука, колбасы, крупа, — говорит председатель правления тов. Тодосейчук, — будет что подать к праздничному столу».

(Газета «Победа» за 1 мая 1965 г.)

*Жизнь идёт вперёд, а не по кругу,
И на месте не даёт стоять.
Можно переждать грозу и выюгу,
Время невозможно переждать!*

(Николай Рыленков)

«Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что бои в Кашмире продолжаются. Индийские самолёты наносили удары по пакистанским танкам американского производства. Накануне, по данным индийского министерства обороны, в секторе Чхамб уничтожено 18 пакистанских танков и четыре противотанковых орудия. В бою было убито 32 пакистанских солдата. Индийские войска потеряли пять танков».

(Газета «Правда» за 5 сентября 1965 г.)

2. ОЗЕРО

Когда сквозь твердь пробивался свет — в мире разливалось зеленоватое сиянье, а твердь становилась белой, холодной и чистой. Такой же чистой и холодной, как сознание. Мир почти спал, и почти спало сознание. Если и появлялась какая-то мысль, то протекала она медленно и холодно, почти не задевая души и сердца.

Но уже эти первые невнятные мысли подсказывали сознанию, что пришли перемены и меняться теперь мир будет всё быстрее и быстрее.

Алёна спала в дальнем углу Озера, там, где мир упирался в глубокую тинистую, коряжистую заводь. Она покойно лежала на толстом слое прелых коричневых листьев, усыпавших черный торфянистый ил, а вокруг неё поднимали к белёсой тверди свои мохнатые нити зеленоватые и бурые водоросли. Иногда её тело

ощущало, как сквозь него проходят потоки воды, — то чуть холоднее, то чуть теплее обычного. Иногда казалось, что какая-то неведомая энергия наполняет её и она начинает светиться. Порой ей чудилось, что сквозь тело проходит само время.

А света становилось всё больше, и всё дольше не приходила тьма, и мир неуловимо менялся — медленно, но неотвратимо.

За то время, пока твердь над Алёной светилась, мысли не успевали дотечь от начала и до конца, поэтому после очередного ухода темноты мысль начиналась заново. Но где-то очень глубоко в сознании появилась уверенность, что с каждым новым приходом света мысль будет становиться все длиннее и длиннее и в скором времени света хватит для того, чтобы додумать её до конца.

Там, за твердью, — Алёна этого не видела, но знала каким-то прежним необъяснимым знанием, — опадал и съёживался ноздреватый сырой снег, набухали берёзовые почки, раскручивали под снегом упругие стебельки проснувшиеся пролески, подснежники, сон-трава и мать-и-мачеха, снегири стайками от перелеска к перелеску перелетали к северу, а малиновые шумные шустрые клесты принимались ухаживать за подругами, зазывая их в гнёзда; барсук, разбуженный первыми ручьями, выбирался из-под коряги — сонный и недовольный, ёжик вот-вот очнётся от долгой спячки, а потом придёт и время летучих мышей, что спят ещё по дуплам дубов и лип, а там — время лягушек и ужей... Венера с каждым днём всё выше поднималась над горизонтом и всё ярче сияла в прозрачном утреннем, переходящем из чёрного в ультрамариновое небе, Сириус соревновался с ней в яркости блеска. Зато бриллиантовая россыпь Млечного пути почти утонула за горизонтом, и лишь к лету он вновь начнёт забираться к самому зениту.

Зима неохотно, скрипя ревматическими утренниками, неохотно уползала на север, а весна — скоротечна и неостановима — брала своё.

...И твердь истаяла, сверкнув под лучами светила последними кристаллами тончайших ледяных пластин, и открылась водная гладь, одним ранним утром на нее со всего маху

плюхнулась первая утка, и Алёна увидела, как её зябкие красные лапки замаячили в серебристой ряби.

Весна быстро перетекала в лето. Да и лето неостановимо летело под парусами облаков в васильковом небе. Отчего так долго тянется в этих краях зима и почему так скоротечны весна и лето? Бог знает... Не успели отцвести ландыши, как сочно зацвел на подсолнечных боках холмов жирный люпин. Вдоль берега Озера беспорядочно разросся цикорий, переглядываясь с небом веселыми синими в фиолетовое глазами.

По выходным здесь было шумно и суетливо. Плескались на отмели детишки, тревожно покрикивали их дебелие мамыши, взлетал над пляжем звонкий мяч под ударами крепких ладоней мускулистых парней, на дальнем берегу забрасывали свои снасти рыбаки — кто в закатанных по колена штанах, кто в высоких болотных сапогах.

Алёне и не нравились эти шум и толкотня, и отчего-то тянуло к ним. Она заплывала в осок, что разрослась у края пляжа, и смотрела, смотрела на верхних, которые жгли костерки и жарили хлеб на ивовых прутиках, бренчали на гитаре или с криками с разбегу бросались в воду.

С какого-то времени Алёна вдруг заметила, что из толпы верхних выделяет одного. Когда он появлялся на берегу, Алёна невольно отмечала про себя: Тот Самый пришел. Он был всегда один, садился поодаль от пляжа на старую, неизвестно кем и когда поставленную скамейку, а то и прямо на песок у самого края Озера и подолгу смотрел в воду. И Алёне казалось, что смотрит он прямо на неё. Она чувствовала его, видела, как лучатся вселенской любовью и состраданием ко всему и ко всякому его сероголубые глаза, как светло струится воздух над его русой головой. Тот Самый был совсем не таким, как все остальные верхние...

В июне настала сушь и жарынь. Но однажды под утро возвращавшиеся рано утром с рыбалки мальчишки раздавили жестокой шутки ради старую толстую безымянную лягушку с Озера,

и теперь несколько дней кряду здесь шли дожди. Стоило отъехать на десяток вёрст в сторону, к асфальтовой трассе, как тучи сходили на нет и выглядывало солнце. А там, над Озером, то и дело словно магнитом притянутые сходились тучи и с неба то и дело брызгало. То ливнем коротким, но таким мощным, что полузахлебнувшиеся дождевые черви и выползки усеивали всю дорогу, то длинной, на двое суток обложной, совсем октябрьской, моросью. То вдруг взгромыхивала и веяла озоновым опашалом неожиданная гроза.

Желтая дорога перестала впитывать воду, и лужи превратились в небольшие пруды, преодолевая которые машины, словно катера на море, поднимали большие буруны волн.

Праздний люд по воскресеньям все равно наезжал на Озеро, но уже не в том количестве, что в жару, а в будние дни вообще никто не навевывался сюда, и Озеро отдыхало. Отдыхало от громкой, дерганой музыки, бессмысленного гомона, мусора, объедков, костров, битых пивных бутылок на отмелях. И вода с каждым днем становилась все прозрачнее.

И только когда гиблую лягушку растащили муравьи, жуки и ненасытные землеройки, дожди прекратились.

По утрам на шаткой, пропеченной солнцем, вымоченной ливнями, прокалённой морозами и потому покрытой серой патиной скамейке на краю пляжа грелись две ящерицы, обитавшие в густой прибрежной траве — Большая Зеленая и Маленькая Коричневая. Маленькая боялась Большую и взбегала на скамейку, только когда Большой не было поблизости. Большая, заведя Костю, панически удирала. Коричневая же через несколько дней уже оставалась греться на пропеченной доске, даже если Константин ставил рядом с ней фляжку с водой. Она только приподнималась миниатюрным драконом на передних точеных лапках и некоторое время строго смотрела на человека.

— Хозяйка деревянной скамьи, — сказал однажды, глядя на нее, Костя, — где твой каменный цветок? Или деревянный?

Маленькая не ответила.

Чем это Озеро — этот старый монастырский пруд — привлекало его, Костя не задумывался, может быть, рассказ бабушки о том, что здесь,

на этих лесных берегах, жил в тесной землянке монах-отшельник, истово замаливавший свои прежние грехи, а заодно и грехи всех живущих. Монах этот, как утверждала бабушка, поселился на Озере ещё задолго до Великого Старца, прославившего здешние места. После долгого отшельничества монах уехал на Соловки, а оттуда на невообразимо далёкую Аляску, став там первым православным проповедником. Сидя на берегу, Костя ясно видел порой в зеркале Озера на противоположной стороне отражение согбенного старика в чёрной рясе, медленно бредущего среди сосен. Отец, правда, слушая рассказы бабушки, усмехался, покачивая головой: «Легенды, легенды...»

Как бы там ни было, но почти каждый свободный день Константин приезжал сюда на велосипеде и подолгу сидел на древней скамейке. Наблюдал за неземными метаморфозами головастика, любовался высшим пилотажем хищной голубой стрекозы, следил за охотой пары канюков. Иногда обманутая его неподвижностью подплывала к самому берегу ондатра. Ужи сторожили лягушек, косяки рыбьей мелюзги, посверкивая, выскакивали из воды, словно кто-то бросал вкось горсть мелкого себры.

Когда Озеро прогревалось, Костя подолгу плавал в коричневатой торфянистой, но чистой прозрачной воде.

Позади остались зыбкие дни и ночи в больничных палатах, долгие поездки в санатории; стали уходить кошмары, в которых он падал то с крыши многоэтажного дома, то с верхушки высоченной сосны, то вываливался из самолёта, то соскальзывал в чёрную пасть бездонной пропасти. Всё это потихоньку уплывало, стиралось из памяти.

Его падение с четвёртого этажа наделало в Городе много шума: никак не мог ребёнок выжить после такого полёта, а он — выжил! Ни в чём, в общем-то, не повинного сторожа уволили, в школах провели специальные занятия, на которых рассказывали, что мальчик, игравший на стройке, так сильно покалечился, что всю жизнь теперь проведёт в инвалидном кресле.

Как городские мальчишки доживают до взрослых лет — уму непостижимо! Покатушки

на льдинах в половодье, взрывающиеся прямо в руках поджиги, ненадёжные тарзанки, бомбочки из самодельного пороха, шипучий карбид в лимонадных бутылках, ветхие, каждую секунду грозящие обвалиться «ходы» под монастырскими стенами...

Костя, однако, не только выжил, но и чудесным образом встал на ноги.

Когда он наконец вернулся домой, дура-соседка утешила мать:

— Ну, позвонки сломаны, подумаешь, срослись ведь — зато в армию не заберут!

А бабушкина старинная подруга терпела-терпела, но однажды, не выдержав, сказала-таки шёпотом:

— Наказание это — за исполком на костях, — после чего бабушка отказала подруге от дома и никогда больше с ней не разговаривала.

Из-за лечения и поездок по санаториям Костя пропустил два учебных года, запустил основные предметы и, кое-как окончив школу, даже не пытался поступать в институт, а устроился в театр рабочим сцены.

Жизнь потихоньку наладилась, но и спустя несколько лет иногда он вдруг ощущал внезапное головокружение, ему казалось, что планета слишком сильно раскрутилась вокруг своей оси и его вот-вот вышвырнет с неё в неоглядный космос. Тогда нужно было закрыть глаза и, крепко ухватившись за что-нибудь, просто минуту-другую переждать.

Вот так однажды на Озере, когда он сидел на горячем песке у кромки воды в отдалении от шумных компаний, планета вдруг ускорила ход, и Косте пришлось зажмуриться и запустить пальцы поглубже в песок, чтобы не соскользнуть ненароком неведомо куда.

— А всё хорошо, барин, — услышал он и открыл глаза.

Рядом сидела девушка его примерно лет и смотрела на воду...

— Здравсте, — кивнул ей Костя.

Она кивнула в ответ:

— Здравствуй, барин.

— Костя, — сказал Костя.

— Алёна, — едва слышно ответила девушка.

Они не разговаривали. Просто молчали и поглядывали друг на друга. Почему она назва-

ла его «барином»? Костя хотел, но так и не решился спросить. Всё было как во сне...

...Теперь он приезжал на Озеро едва ли не каждый день.

Не замечая ни комаров, ни слепней, в молчанье сидели они на берегу допоздна, до густой закатной синевы на востоке и догорающей алой полосы на западе. Впрочем, зудящая кровавая армия, облаком окружавшая каждого и заставлявшая всех отмахиваться ивовыми ветками и натираться едким «репудином», сторонилась Алёны и Кости. Когда солнце нехотя окончательно заваливалось в лес, Алёна тихо входила в воду и уплывала, а Костино сердце сжималось в неизъяснимой тоске, и он, словно очнувшись ото сна, тихо брёл по песчаной дороге в засыпающий Город, ведя велосипед за руль.

Он чувствовал, конечно, что происходит что-то такое, чего быть не может, и где-то в самой глубине души начинал подсасывать страх, но отказаться от этих поездок на Озеро уже никак не мог...

3. ЕСТЬ ЛИ ТО, ЧЕГО НЕТ?

Существуют ли они — домовые, лешие, русалки и всякая прочая нежить? Вопрос спорный. Нет, правда. Вот радиоволн мы ведь не ощущаем, а они есть. Или радиация. Магнитное поле, опять же. Может, и ещё что-то есть, что мы пока ощутить, увидеть, потрогать не можем. А Бог?

Конечно, конечно, любой мало-мальски грамотный человек в два счёта докажет вам, что нет — не существует ни домовых, ни кикимор, ни шишиг с лешими, ни полудниц, ни упырей, ни луговиц и не летает тёмными ночами над уснувшими избами птица Гамаюн, и не плавают в тёмной речной воде печальные водяницы с длинными зелёными волосами — никакой на свете не существует нежити. Всё это порождения тёмного, задавленного нищетой и тяжёлым трудом суеверного народного сознания. Однако ж...

— ...Понимаешь, Костя, — разглагольствовал, расположившись на фанерном, выкрашенном в золото троне, осветитель дядя Коля в синем халате, очках и сигаретой за ухом, — тут

вопрос сложный. Можно просто сказать: нет. И всё.

Они сидели в сумрачной бутафорской, ели батон с косо нарезанной докторской колбасой и запивали его: Костя — молоком, а дядя Коля — пивом. Пахло пылью, мастикой и ещё чем-то, чему названия у Кости не находилось; висело вокруг пёстрое театральное тряпье, с колосников раздавалось едва уловимое поскрипывание, тускло поблёскивали у стены шпаги, посохи и даже настоящее лодочное весло торчало из-под разноцветной мишуры. Дядя Коля был ненамного старше Кости, но вид имел бывалый и потрёпанный. Потрёпан дядя Коля был, как он сам говорил, бывшей женой и судьбой.

— Да, всё, и говорить не о чем. Но вот что со мной однажды случилось. Сразу говорю, не вру ни полсловом. Ну, ты знаешь, что родители мои раньше неподалёку от Города жили, в Ковалдове. И я каждое лето к бабушке с дедом гостить ездил. Время от времени бабка отправляла меня в поле на жатву сыну своему, моему дядьке, обед относить. Собирала в узелок яйца печёные, картошку, опять же печёную, лук, огурцы, бывало, и курятину отварную, и бутылку молока, тряпицей или газеткой заткнутую. Обычно к комбайнам меня на машинах подвозили, в которые из бункеров зерно сыпали. А в тот день жали не так далеко от села, и я отправился пешком, напрямки. И есть там такое место, про которое говорили, что там плохо что-то. Ну, старались туда без дела не ходить. Ребятишки смеялись, конечно, над этим. Спутник в космос запустили, а тут такие суеверия, косность... Вот я там и шёл — тропка выходит на круглый холм, на холме кольцом — берёзы, внутри кольца — поляна, тоже круглая, и трава там высокая. Ну, иду, прохожу под берёзами, а в центре поляны остановился. Красиво очень, мне показалось. Берёзы высокие, стройные, шелестят, трава шёлковая, небо синим кругом над головой в зелёной кайме берёзовых верхушек, а в вышине жаворонки невидимые заливаются. Ну такая благодать. Я узелок поставил да в траву и повалился — так хорошо было. Смотрю, как облачка по небу бегут, кузнечиков слушаю, не жарко, ветерок веет, травой и полем пахнет, комбайны где-то

недалеко стрекочут, машина гуднула... Я вдруг понял — не знаю даже, как это описать... что вот это вот и есть счастье. Вот бы вечно так всё шло и шло.

И вот только я это подумал, как всё разом изменилось. Главное — тишина. Полнейшая. И так всё странно. Ни кузнечиков, ни жаворонков не слышно, трава замерла, берёзы застыли... Словно мне уши заткнули или будто я на дне озера оказался. Смотрю: ветра нет, а облака по небу в три раза быстрее несутся, даже мне показалось, что облака на месте стоят, а это поляна вместе со мной летит куда-то! Ох, и испугался я, в траву вцепился и замер! Чувствую — пошевелиться не могу, даже головы не повернуть. И тут краем глаза вижу, как из-за берёз вышла высокая... очень высокая женщина в белом балахоне с капюшоном... и идёт медленно, словно плывёт. Сердце у меня заколотилось, только бы, думаю, не заметила! А почему не хочу, чтобы заметила, — и сам не знаю. Но не хочу. И вдруг она лицо ко мне поворачивает, а лица... нету! — Дядя Коля уставился в одну точку, передёрнул плечами и поёжился. Недоеденный батон подрагивал в его руке. — То есть что-то есть, как бы и глаза, и рот, и даже ухо под капюшоном виднеется, но размыто, словно сквозь марево, — не узнать. Я весь потом холодным облился, и при этом меня в жар бросило, как такое может быть — не знаю, но так и было. А женщина шаг как будто призамедлила, и в голове у меня такое началось! Даже и не опишешь. Как будто мне в мозги что накачивать стали... В общем, потом, по жизни, как только что мне предстояло серьёзное дело или решить что-то, на меня такое же вот состояние на секунду-другую накатывало, и, знаешь, сразу становилось ясно, как быть. И ни разу еще не ошибся.

И вдруг она капюшон скинула — голова лысая, а на лбу пятно, подняла руку, а на кисти двух пальцев не хватает; тут как дунуло, гул пошёл — думал, берёзы переломятся! Зажмурился я и с травы как ошпаренный вскочил бежать. Смотрю, а вокруг всё по-прежнему: никакой женщины нет как не было, кузнечики безмятежно стрекочут, жаворонки пуще прежнего заливаются, берёзы шумят и облака по небу потихоньку шкрябают... Схватил я узелок да

как дёрну на звук комбайнов. Хотел дядьке всё тут же рассказать, но не смог, язык не поворачивался... Потом только, вечером, бабушке потихоньку рассказал. А она слушала да головой качала, мол, не к добру, не к добру; это сама Большачка мне явилась. А что за Большачка — говорить не стала... Ну, может, и задремал я, и всё приснилось. Только не было это на сон похоже. Совсем не похоже...

Костя и сам мог бы рассказать не одну историю про странности жизни. Ну вот хотя бы про бородавку... Как-то лет в десять появилась у него на боку бородавка, как раз там, где резинка от трусов. Задеваешь — и больно, и неудобно.

— Берёшь в руки всякую гадость — лягушек да ужей, вот и получил подарочек, — пробурчала мама сердито. — Сходи к врачу...

Бабушка подошла, посмотрела. Повела в свою комнатку. Из рукодельной своей шкатулки достала белую нить, сделала петельку, окунула в стаканчик с водой, стоявший за иконкой, надела петельку на бородавку и слегка стянула.

— Носи до субботы. В субботу вечером сними и сожги.

Костя спором огорчать бабушку не стал, подумал: выйду гулять, сниму и выброшу. Но на улице про ниточку сразу забыл.

В субботу бабушка напомнила:

— Костя, дай-ка ниточку.

Костя задрал рубашку. Чёрная ниточка была на месте. Постойте-ка, вроде она была белой? Или он забыл? Бабушка забрала петельку и ушла к себе, через минуту оттуда слегка потянуло палёным...

Через неделю Костя обнаружил, что бородавка отвалилась. Только пятнышко еле заметное осталось.

Или вот ещё случай в летние каникулы был. Ночевал он у тётки Маши. На ночь легли с братьями-сёстрами на полати, давай всякие страсти друг другу рассказывать, толкаться да щекотаться. Но тут самая младшая сестрёнка — Любашка, которую тётка в колыбели качала, зашлась плачем. И как её ни успокаивали — не умолкала; наоборот, кричала всё громче, покраснела вся, испариной покрылась. Посла-

ли за знахаркой. Вошла в избу седая пожилая женщина. Развернула пелёнки, повернула заходящуюся в крике девчонку на один бок, на другой и говорит:

— Щетину вынимать надо. Хлебы давайте.

Ребятишки, затаив дыханье, во все глаза смотрели, как из чулана вынесли два утром испечённых каравая ржаного, как старуха разрезала каждый вдоль на два круга, сняла лампадку, поводила мякишем над трепещущим огоньком. Потом пару половинок выложила в колыбельку, уложила на них уже задыхающуюся от крика сиплую Любашку, два других пристроила на грудь и животик, и прикрыла одеяльцем. Любашка затихла, и в избе повисла ватная тишина. Костя и не догадывался, конечно, что склонившаяся над колыбелью знахарка — та самая, которая когда-то первой взяла его в руки на этом свете...

Через час хлебные круги из-под крепко уснувшего ребёнка вынули, знахарка завернула их в платок и унесла, приняв от тётки Маши шматок сала и пяток печёных яиц. Но ребятишки этого уже не увидели: разметавшись в плывущем от печки сухом тепле, они крепко спали.

— ...Вот то-то и оно, — дядя Коля аккуратно поставил пустую пивную бутылку за трон, к дюжине таких же. — То-то и оно... Я где-то читал, — то ли в журнале «Знание — сила», то ли в книге какой-то, — что есть теория, по которой одновременно существует несколько параллельных миров, которые не соприкасаются, но иногда происходят утечки из одного в другой. Или в третий. Отсюда летающие тарелки, привидения, пророчества всякие, Нострадамус, Мессинг, Ванга там. Может, в этих параллельных мирах русалки и тарелки — обычное дело...

И знаешь вот ещё что: смотри, бабушка твоя блюдец с молоком для домового за печку ставит? Ставит. И моя ставила. Я к чему: если люди всё делали так и вели себя так, будто домового есть, то какая разница, есть он или нет! Для человека верящего он есть. И русалка есть, и леший... Ему всё равно, что кто-то не верит. Большинство и в Бога не верит, так что ж теперь...

* * *

«Коллектив районного узла связи, продолжая Ленинскую трудовую вахту до конца текущего года, выполнил план доходов за 10 месяцев на 101%. Подведены итоги, названы лучшие сотрудники».

(Газета «Северная правда» за 22 апреля 1970 г.)

«В магазин уценённых товаров поступили женские итальянские плащи «болонья» всех размеров (цена плащей 52 руб.). Приходите за покупками!

Адрес магазина: Люберецкий колхозный рынок».

(Газета «Люберецкая правда» за 28 апреля 1970 г.)

«Израиль продолжает обструкцию встреч специального представителя генерального секретаря ООН Г. Ярринга по политическому урегулированию ближневосточного кризиса — к такому выводу приходят здесь наблюдатели, исходя из событий последних дней.

Тем временем в Тель-Авиве продолжают нагнетать военную истерию. Министр обороны Израиля Моше Даян даже «обвиняет» Вашингтон в том, что тот, дескать, не гарантирует условий прекращения огня. Израиль, восклицает Даян, должен развязать себе руки и ударить по Египту».

(Газета «Правда» за 10 августа 1970 г.)

4. ВОПРОС ВОПРОСОВ

Приходит время, и начинаешь задумываться: отчего мир устроен так, а не иначе, почему каждый — спроси его — знает, что хорошо, что плохо, и при этом плохого в мире немало, да что там немало — много. И даже слишком много. Отчего человек злится, крадёт, трусит, скопидомничает, слабого унижает, а перед сильным лебезит, завидует: «пусть у меня корова сдохнет, а у соседа — две»...

Вот плывёт в ненадёжной надувной лодчонке через бескрайний океан храбрый одиночка — французский врач Ален Бомбар, чтобы избавить от чёрной безнадёжности отчаянья и научить спастись потерпевших кораблекрушение, а в это же самое время на другом краю

земли злобный преступник безжалостно стреляет в молоденькую стюардессу в угнанном самолёте.

Никак не могут люди успокоиться, устроить-ся на планете по-хорошему; мир кипит, бурлит и бродит. На далекой Кубе — революция. Там Фидель Кастро, молодой и бородатый, строит на сказочно прекрасном острове свободное справедливое общество. Его сподвижник — лихой красавец Эрнесто Че Гевара, добившись свободы для Кубы, с «калашниковым» в руках добивается её для Боливии. В Чили фашисты бросили в застенки Луиса Корвалана, превратили в концлагеря стадионы Сантьяго, во Франции расхристанные бестолковые студенты свергли негибавшего Де Голля, полыхает напалмом многострадальный Вьетнам, не пожелавший американской демократии. А там, где не полыхают войны, пёстрыми таборами разбрелись по свету лохматые хиппи, неопрятностью, свободной любовью и наркотиками протестующие против затхлого буржуазного строя. Планета бурлит, отовсюду веют грозные революционные ветра, ветра романтики и свободы!

В Городе, обнесённом колючей проволокой и словно накрытом невидимым колпаком, жизнь текла спокойно и уравновешенно; Костя вместе с друзьями раз десять бегал на «Фантомаса» и «Неуловимых мстителей», пел в школьном хоре «Много в поле тропинок, только правда одна...» А там, «за зоной», на большой земле что-то происходило, и с каждым годом менялись люди, менялись отношения между ними. Как совсем недавно радовались первому спутнику, как любили отважного Гагарина, русского парня с открытой улыбкой, — космос наш! «Будь готов — всегда готов, ты Гагарин, я Титов!»

Что же произошло? Словно чего-то всем стало не хватать, а чего — никто толком и не знал. Воли? Дорога к правде оказалась совсем не одна. И каждый искал свою. Молодёжь попроще упивалась БАМовско-стройотрядовской романтикой, те, что поумнее, прислушивались к разговорам старших товарищей и штудировали Ленина. Мятающаяся интеллигенция горячо обсуждала происходящее в стране на кухонных посиделках, которыми всё и ограничивалось.

Появились молодые люди с бородками, с крестами и без — эти искали смысла жизни кто в Библии, кто в Торе, кто в туманных писаниях Рериха и Блаватской.

Потом, позже к этому времени приклеится несправедливое, мало что объясняющее слово «застой»... Романтика оставалась только в песнях, книгах и фильмах. Но в реальной жизни ее так не хватало двадцати-тридцатилетним, которые со свойственным большинству молодых максимализмом считали, что идеи социализма извращаются; на собраниях и политинформациях говорится одно, а в жизни, на улицах происходит совсем другое. И так хотелось многим из них своими молодыми не растраченными ещё силами всё сейчас же, немедленно изменить...

Что именно и как менять — это потом, главное — начать... И вот пока меркантильные тупо, но целеустремленно делали карьеру, романтики «ехали за туманом», выискивая то, чего найти нельзя нигде, кроме как в самом себе; пока творческие технари, становясь «пофигистами», — а пошли вы все! — спускались в полуподвалы котельных поэтическими дворниками, наивные, но честные и нетерпеливые пытались искать, но искали, как в сказке, — «пойди туда — не знаю куда, найди то — не знаю что». Появилось и пошло гулять по свету странное слово «диссидент». О диссидентах Костя слышал что-то такое смутное и раздражающее. Правда, отец рассказывал про Сахарова, «который был неплохой мужик, но которого сбила с пути истинного жена-еврейка». Отец знал, о чём говорил, — несколько раз он по дороге на работу здоровался с вежливым Сахаровым, когда тому приходила в голову фантазия летним солнечным утром прогуляться до управления пешочком, постоять у стендов с информацией «Они мешают нам жить и работать» и бодрыми полосами свежей «Правды»...

Отчего, по какому закону природы с каждым годом детская солнечная простота бытия начинает тонуть в мелочных и неотвязных дрызгах жизни? Словно тени в наступающих сумерках, выползает откуда-то тёмная сторона бытия. Дядя Витя из соседнего подъезда всё время ругается и бьёт свою жену — тихую и добрую

тётю Полю. По субботам дерётся и скандалит на городской танцплощадке большой, толстый и добрый Юра Николаев. Каждый раз четверо милиционеров выволакивают его за ограду и пытаются втолкнуть в милицейский «козелок». Юра не сопротивляется, Юра улыбается и, улыбаясь, просто расставляет локти, и втолкнуть его тушу в узенькую дверь с решёткой на окне не удаётся, и он каждый раз устраивает из этого представление. Почему вчерашние милые «всегда готовые» пионеры-пятиклашки превращаются в отчаянных подростков-драчунов, готовых, пренебрегая законом «лежачего не бить», налететь на слабого, а то и схватиться за нож? Откуда вообще берётся эта жестокость, эта злость — к другим, и к себе, и ко всему на свете? Почему жалость к людям и животным живёт в одних из нас и начисто отсутствует в других? Почему вчерашний приятель, благоговейно носивший за однокурсницей портфель, вдруг в компании подросших друзей говорит о ней грязные слова? Отчего половина однокурсников начинают материться, драться и попить «портвешок» по чердакам и подвалам, а другая уходит в учёбу, в спорт, в книги? А друзья — и там, и там. И как это сложить воедино? Или нужно делать выбор?

Однажды, ещё в девятом классе, приятель с соседнего двора Олежка Симонов, парень, за девять лет школы съехавший из отличников в принципиальные двоечники, позвал:

— Костян, айда Белку шупать! У неё все наши сегодня будут.

Вот ещё одна странная вещь: ни к какой Белке Косте идти не хотелось, но отказаться, сам не понимая почему, не смог. Белка — полусумасшедшая молодуха лет двадцати, собиравшая у себя в замызанной хрущёвке, доставшейся ей после гибели в автокатастрофе родителей, окрестный молодежь, чтобы поразвлечься. Поговаривали, что за развлечения парни приворовывали для неё, а могли по её требованию и побить, на кого укажет. Для старшеклассников и ребят из ПТУ главным развлечением была возможность потрогать Белкины прелести.

Портвейн Косте не понравился, не понравилась ни Белка, ни её прелести. Вялые груди и дряблый живот не вызвали никаких чувств.

Косте казалось, что и другие парни чувствуют то же, но отчего-то вновь и вновь тянутся в эту засранную квартиру. Ничего, кроме брезгливости и жестокого похмелья, тот вечер в памяти не оставил. Белка сразу его поняла и сказала своим:

— Этого больше не приводить! Не наш...

Константин и сам стал сторониться прежних приятелей.

Легко отойти от ненужных людей, но как найти нужных? А главное, как освободиться от назойливых мыслей?

А мысли эти не давали Косте покоя. Почему всё плохо, если может и должно быть хорошо? Откуда в человеке эта червоточинка, делающая из милого ребёнка жадноватого, трусоватого, завистливого, чёрствого взрослого?

— Несовершенство человеческого социума — не повод не видеть в нём доброго, хорошего и героического, — терпеливо наставлял потрепанный этим самым социумом дядя Коля. — Да, плохого немало. Такова уж реальность нашей действительности. Такова сущность некоторых индивидуумов.

У него была целая теория, согласно которой на планете Земля обитают два подвида «хомо сапиенс». Один, который физически не способен на подлость, и второй, в генах которого по неясной причине отсутствует некий ограничитель, и каждый из этого подвида способен совершить любое преступление для собственной выгоды.

— ...А не совершают только из боязни наказания! — дядя Коля значительно поднимал указательный палец. — Для того и придуманы законы... Помнишь ту бабу, что убила мальчишку, разрешила его и в сумках разбросала где попало. Психиатры признали её вменяемой. Вмения-е-мой! То есть она понимала, что делала, только надеялась, что не поймают. Вот такие и есть второй подвид.

5. ПАМЯТЬ

Что ненадёжнее и что сильнее памяти? Отчего мы забываем то, что хотелось бы запомнить, и не можем забыть то, от чего хотелось бы избавиться? По каким законам память то радует нас, то терзает?

Да, и ту бабу, и многое, многое другое Константину хотелось бы забыть. Но оно не забывалось и мучило его даже самой этой невозможностью забыть.

Почему-то не стирается из памяти даже то, что никак не касалось его. Ну вот хотя бы та история с сиамскими близнецами в солнечной и беззаботной Евпатории. Откуда-то, из Ленинграда, кажется, молодые родители привезли в санаторий сиамских близнецов, сросшихся грудными клетками, а когда срок путевки кончился, не вернулись за ними. Бросили. Близнецов усыновил главврач санатория, хоть его дружно отговаривали почти все близкие и знакомые. А потом выяснилось, что совершенно необходима операция по разделению близнецов. Не оперировать — умрут оба. Оперировать — умрет один. Но который?

Чем завершилось дело, Костя так никогда и не узнал — закончился курс лечения, и он уехал. Но неподъемная тяжесть выбора поразила его; было очень жалко детей, но ещё больше — доктора, которому предстояло одного из близнецов обречь на смерть.

Костин одноклассник, окончивший школу с серебряной медалью, получив аттестат, не стал поступать в вуз, а пошел в военное училище. Когда Костя спросил его, почему, объяснил очень просто: не нужно принимать решений; тебе приказали — ты выполнил. И всё! И голова ни о чём не болит.

Никак не мог забыть он и историю с кошкой, случившуюся тем самым дошкольным летом.

Было солнечное лето, сирень в окно тычется, где-то вдалеке город несильно шумит, просыпается... Родители на работу ушли, на столе ждёт прикрытый белоснежным полотенцем завтрак. А за окном беспрестанно кричит кошка и, даже сказать, не кричит, а воет как-то. Костя выглянул в распахнутое окно — не видать. Умылся, позавтракал, гулять вышел. Слышит, кошка всё воет. Где-то в сиреневых кустах. Костя полез в сирень — посмотреть. И там в самой гуще увидел лежащую на боку кошку. Живот распорот, кишки на земле, а в кишках черви белые копошатся. Костя застыл. А кошка смотрела на него потухшими глазами с корками гноя вокруг, и Костя понял, что кошка не видит его, но чувствует.

Кто её так? Может быть, под машину попала, может, собака порвала, а может, и мальчишки... Мальчишки ужас какими жестокими бывают. Видел Костя однажды, как пацаны постарше такую вот бензином облили и подожгли.

И что же было делать? Костя понимал, что помочь ей уже ничем нельзя. Невозможно. Но казалось, что она ждёт помощи. А до неё дотронуться страшно...

В общем, Костя убежал тогда в соседний двор и тамошних приятелей своих подбил на речку идти купаться. Да так целый день в воде и пробултыхались. Очень ему хотелось забыть про кошку в сирени.

Вечером шёл домой и всё боялся, не раздастся ли вой из сирени, но нет — то ли сдохла, то ли унёс кто-то на лопате на помойку. В общем, кошка забылась.

А вспомнилась она, когда, открыв для себя Бабеля, Константин наткнулся в его «Конармии» на эпизод с раненым в живот конармейцем. Тот, где автор-герой не стал достреливать смертельно раненного, и его, чтоб не мучился, дострелил другой конармеец...

Конечно-конечно, тут человек, а там какая-то кошка, но ведь и Косте-то тогда было не больше семи лет. Вот что надо было бы сделать, думал он, сидя над раскрытой книгой, нужно было кошку быстро добить. Хотя бы камнем, что ли. Не догадался...

И вот как жить в таком неустроенном и неоправданно жестоком мире?

Однажды дядя Коля, восседая по обычаю на золочёном троне, попытался сформулировать Костино непонимание бытия:

— Жил-был в Одессе цирюльник, который всю жизнь брил людей. С утра до вечера. Брил, брил, брил... Однажды бросил бритву об пол и в отчаянии воскликнул: «Всех не переброешь!!!» И повесился...

— Ну и как это понимать?

— Да ведь так может воскликнуть любой человек, — поднял вверх указательный палец дядя Коля, — и дворник, и прокурор, и учёный... А особенно такой балбес, как ты. Ты ведь ответа на главный вопрос ищешь: в чём смысл жизни?

В общем-то, это не было открытием, Костя и сам если не понимал, то чувствовал: в конце

концов все эти «проклятые» вопросы упираются в один, по-настоящему главный — зачем мы, собственно, живём, братцы? Вот именно — в чём смысл жизни?

6. ВЕРНАДСКИЙ, БАБУШКА И НЛО

Послушайте, но ведь действительно странные и необъяснимые явления происходят порой на белом свете. Необъяснимые и от того мучительные для человека пытливого, небезразличного к невидимым пружинам, тайным законам, движущим вселенной и всеми её обитателями. Как раз в то время, когда у среднестатистического советского человека практически не осталось сомнений, что Бога нет, стали происходить удивительные вещи, объяснений которых не было.

В посёлке Бараново, расположенном совсем недалеко от Города, случилось происшествие, которое в череде других и заставило многих, кому довелось о нём узнать, посмотреть на философию жизни под несколько непривычным для учёного человека углом зрения. В общем, над мордовским посёлком, большая часть которого была лагерем, населенным зэками, а меньшая — домами их охранников, появился НЛО. И хоть случилось это рано-рано утром, почти ночью, весь посёлок при первых же слухах о чуде оказался на улице. Гораздо позже, много лет спустя, опираясь на неведомо как обнаружившиеся документы, корреспондентка местной газеты со свойственной ей лихостью и дотошностью описала это событие так.

«Неловко было бы предстать перед читателями человеком, который на полном серьёзе пересказывает эту странную, просто невероятную историю. Даже когда держала в руках копии рапортов военнослужащих, всё ещё не верила. Но вот когда узнала, что эти документы получены из архивов КГБ, поняла, что это не розыгрыш и не глупая шутка...

Итак, под утро 16 августа 1980 года над посёлком Бараново появилась очень странная звезда. В начале третьего ночи в помещение, где отдыхали военнослужащие, вбежал начальник караула. «Если хотите видеть чудо — айда на улицу!» Чудо не чудо, а нечто необыкновенное.

Довольно низко над горизонтом на расстоянии пяти-шести километров, покачиваясь, висел огромный диск. Металл, пластик, энергетический сгусток — трудно понять, из чего был сделан корабль. Вдруг он стал приближаться, и кое-кто, испугавшись, побежал...

«Кто вы такие и что вам нужно?» — подумал сержант Павел Анисимов. Мысль была неотчетливой, невысказанной, но вдруг внутри себя он услышал ответ: «Если не боишься, подойди». — «Где же вас искать?» — «Иди прямо».

Из рапорта начальнику колонии подполковнику Умярову А.Я. командира взвода прапорщика Бочка: «...Сержант Анисимов пошёл к ним. Командир роты пытался его остановить, он (Анисимов) не реагировал... Прошло минут двадцать, командир стал звать его, но он не откликнулся. Потом командир послал меня и лейтенанта Шлепанова В.Ф. искать... Мы прошли с километр, стали звать его...»

Из рапорта сержанта Павла Анисимова: «Я не испытывал никакого страха и пошёл вперёд. На вопрос командира: «Паша, ты куда?» я ответил (а может, просто подумал): «Скоро вернусь...» Пройдя метров 100—150, я спустился с насыпи и пошел по шпалам между рельсами... Сзади светился фонарик: за мной шли еще двое смельчаков. Я подумал: хорошо, что не один. Но в голове вдруг прозвучало: «Они за тобой не побегут!»

Я прошёл ещё минут пять-шесть и почувствовал, что воздух вокруг меня стал как бы «сгущенным», то есть вязким. Идти становилось тяжелее. Вскоре я понял, что дальше идти не смогу. Собственно говоря, эту преграду я мог даже «пощупать» руками. Это было что-то вроде упругой вязкой массы, но не липкой. Я остановился. Обернувшись назад, я увидел саму «тарелочку» насыщенного красного цвета (но не блестящего, хотя и довольно яркого). Размер НЛО ориентировочно 50—60 метров в диаметре и 10—12 метров по высоте. Четко просматривались иллюминаторы, как бы подсвеченные изнутри (они были желто-соломенного цвета). На нижней части блюда 8 или 9 иллюминаторов в форме эллипса. Сверху — постройка полушарием с 4 или 5 иллюминаторами круглой формы.

Я достал очередную сигарету и тотчас получил вопрос: «Что это? Зачем тебе это?»

Объяснив, что это сигарета, я, вероятно, одновременно передал информацию и о том, из чего она состоит и что делает. Они попросили показать. Я взял сигарету в руку и поднял перед своим лицом. Сигарета медленно «растаяла» и не оставила никакого следа. Тогда я достал еще одну и подумал, что уж эту-то я не отдам.

Прикурив, я задал им вопрос: «Так кто же вы и чего вам надо?» Ответ прозвучал примерно так: «Мы охотимся на контрабандистов, которые поставляют от вас к нам протоплазму, которой вы распоряжаетесь не по-хозяйски». (Протоплазма — содержимое клеток животных и растительных организмов. — В. Ш.) На мой следующий вопрос: «С какой вы планеты и как нам с вами связаться или вступить в контакт?» — получил еще более нелепый ответ: «Мы живем на той же планете, что и вы, но находимся в другом измерении, и поэтому контакт между нами без специальной подготовки пока еще невозможен».

Обменявшись несколькими еще более идиотскими вопросами-ответами, я повернулся и спокойно пошел назад. Меня никто и ничто не удерживало. Дорога назад мне показалась длиннее, чем дорога туда...»

Из рапорта начальнику колонии подполковнику Умярову А. Я. командира 3-й роты капитана Н. Афанасьева: «Мы около двух часов искали Анисимова. Затем я решил искать его всей ротой. Буквально через пять минут он появился. Объект находился вдали от промзоны и испускал яркий свет до пяти утра».

Павла Анисимова и офицеров, свидетелей происшествия, с интересом расспрашивали компетентные комиссии, проводили медицинские обследования, не обнаружившие, впрочем, никаких отклонений в здоровье...

Многие жители окрестных сел и городков вспоминают похожие встречи с необъяснимыми явлениями и «пришельцами»...

Что же произошло тогда, в 1980 году? Об этом могли бы, наверное, поведать закрытые рапорты, видеопленка, якобы хранящаяся в анналах КГБ, да, может быть, решится рассказать майор Сафонов, после того как выйдет в отставку.

Газетная статья вызовет даже большую шумиху, чем само явление НЛО. Её без спросу перепечатает центральное издание «Очень секретно», из-за чего редактор местной газетки, втайне гордясь перепечаткой, будет кричать при каждом удобном случае, что «эти столичные бездельники» воруют у региональных СМИ напропалую...

Впрочем, и разухабистые газеты, и странный клан уфологов — всё это ещё только подспудно зрело где-то в неясном тумане будущего, а тогда, в восьмидесятом, если кто-то и обратил внимание на это интереснейшее с точки зрения психологии и социологии явление, то в силу существовавшей на то время системы молчал. Что касается населения Бараново, то оно разделилось на три почти равные части. Первая треть ничего не увидела, ничего не услышала и ничего не поняла. Вторая — кое-что разглядела, кое-что услышала и если и не очень-то поняла, то почти догадалась. Третьи все увидели, все услышали. НЛО? Да, конечно, НЛО. Да нет, это секретный Город провёл секретные испытания секретного оружия... Но был только один, который знал. И тут интересно: как он не побоялся пойти навстречу абсолютно неведомому? Что чувствовал тогда? И главное — каково ему живется после той невероятной встречи? Как он видит теперь наш мир? Не тоскливо ли, не тесно ли ему теперь в своем времени, на своей земле, в своем измерении?..

Константин, услышав от дяди Коли историю про НЛО, не очень-то в неё поверил.

— Напрасно, — осудил его неверие дядя Коля. — Ведь совершенно очевидно, что подавляющее большинство людей просто не видят или видят не так то, что некоторые люди видят правильно и достоверно... Одним словом, несмотря на то что земля круглая, многие тем не менее по-прежнему верят, что она плоская. И если долго-долго идти в одном направлении сквозь пространство и время, можно в конце концов прийти к краю земли. И если удастся отыскать прореху в хрустальном небесном своде, то действительно можно свеситься вниз и увидеть серые колонны ног трех огромных слонов и натруженную спину кита, и даже услышать его тяжкое водянистое дыхание.

— Обрати внимание, Костя, — дядя Коля вновь подвёл разговор к своей теории, — мудрый гольд Дерсу Узала говорил своему дальневосточному Робинзону — Арсеньеву: «Твоя смотреть есть — видеть нету!» Большинство современных людей не замечают, что живёт в многомерном, можно даже сказать, в многослойном мире. Порой слои эти соприкасаются, пересекаются и тогда — словно вспышка короткого замыкания — происходит нечто, что современная надутая, чванливая и близорукая наука называет суеверием и невежеством, а безапелляционная церковь — бесовщиной.

Впрочем, горожанам было совсем не до НЛО — в тот год страшные пожары обрушились на окрестности. Лес на глазах выгорал широкими полосами, жадно пожираемый гонимым ветром пламенем.

По окраинам Города, истошно завывая и сверкая оранжево-синим, мчались красные пожарные машины, бульдозеры, поднимая седые клубы пыли, срывали по опушкам верхний слой почвы, валя молодые деревца и кустарники, временами окраины затягивало горьким дымом. Пожарный вертолёт, захлёбывая огромной брезентовой кошёлкой воду, баламутил Озеро до самого дна.

Пошли по Городу слухи, что, зачерпнув в очередной раз воду вперемешку с донным илом, вертолётчики выловили человеческий скелет.

Бабушка вечерами всё чаще молилась перед иконой в своей комнатке, а за ужином, ни к кому не обращаясь, бормотала:

— Это всё за грехи наши. Прдрекал Старец, что бесстыдства человеческие ещё аукнутся. Вот погодите, пожары кончатся, война начнётся или потоп будет, провалится весь Город в подземное море...

Именно в эти дни Костя с печальным удивлением заметил, как постарела бабушка. Как поредели её волосы, согнулась спина, исхудали руки; всегда шустрая и энергичная, она стала шаркать ногами, всё реже выходила из квартиры, путала дни недели... Вглядываясь в её потускневшие глаза, слушая её глуховатый голос, Константин пугался этих перемен, жалость и любовь наполняли его сердце теплом и болью.

Вечерами он стал чаще наведываться в её комнатку, слушал нескончаемые рассказы о

былом, перебирал с ней фотографии, листал её лохматые от времени церковные книги.

— Баб, а про какого Старца ты всё время говоришь, — спросил он в один из таких вечеров, — кто это?

— Во-от, времена какие настали! — бабушка горестно покачала головой и брала в руки бумажную, наклеенную на картон иконку, на которой согбенный старец в монашьем одеянии кормил куском хлеба огромного медведя. — Его верующие люди во всём мире знают и чтут, и только мы тут на его земле живём, а ничего не знаем.

Подвиги Старца, о которых рассказала бабушка, показались Константину странными. Вот на амбразуру с гранатой — подвиг, таран вражеского самолёта или даже в мирное время что-то совершить такое, на что отвага нужна. А тут — три года молился на камне в лесу, питался лебедой, молчал, медведя дикого приручил... Кому и какая польза?

— Да ведь не все подвиги прямой пользой измеряются, — удивлялась Костиной бестолковости бабушка. — Не маленький ведь уже — должен понимать, что есть подвиги, которые со стороны и не увидишь. Духовные подвиги. Гордыню свою, к примеру, смирить — уже подвиг. О других людях болеть, жалеть их, помогать им самих себя понять...

Жалеть — да. Это просто беда, как бывает жалко всех. Костя даже злился на себя временами за эту непрошеную и бессильную жалостливость: ведь сколько несчастных людей вокруг, сколько несправедливости, бабушки с крохотной пенсией, собирающие в сквере пустые бутылки, безногий пьяница-инвалид из соседнего дома, кошки-собаки бездомные, гибнущие на улицах лютыми зимами. Но какой же тут подвиг? И разве всем молитвой можешь. Советская власть вон уж сколько лет бьётся, бьётся, а всё никак...

Как ни странно, бабушкино мнение о Старце поддержал дядя Коля.

— А йоги? А тибетские монахи? Помнишь, сам же мне рассказывал о монахе, который в пещере несколько лет медитировал, никуда не выходя. Просветления искал, чуть ли не левитировать научился. Хотя не в левитации дело, я думаю, смысла жизни он искал. Люди как

стали сапиенсами, так с тех пор и ищут смысла своего существования. Не все, конечно, далеко не все. Кому-то, может, даже большинству — всё до лампочки. Но всегда есть такие, кому небезразлично, зачем они на свет появились и что будет, когда умрут. Вообще, Костик, многого мы ещё не знаем; как там у Шекспира, — дядя Коля завёл глаза, вспоминая, — случается на суше и на море, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам. Вот был такой учёный — Вернадский. Владимир, кажется. Так вот он считал, что всё, о чём думают люди, всё, что они изобретают, сочиняют, не исчезает бесследно после их смерти, а превращается в некую энергию и скапливается вокруг планеты в некое поле. Он называл это ноосферой. Я, честно говоря, не совсем разобрался в этом — как мысль может превратиться в энергию или в информационный поток. Может быть, как магнитное поле. Неясно. Так я и не учёный... Не знаю, был ли Вернадский верующим, но многие знаменитые учёные, между прочим, были верующими. Так что бабушка твоя в чём-то умнее нас с тобой. Мудрее, что ли...

Вот кому можно про Алёну рассказать, решил Константин, — бабушке. Что Бог, что русалка — и то, и другое невыразимое, недоказуемое, странное, не из этой жизни. Ноосфера, прозрение, Шекспир — всё это путалось и не связывалось, но что-то в этом было...

Бабушку, однако, его признание напугало.

— Костя, — всплеснула она руками. — Плохо это! Искушение, морок, не ходи ты больше на это Озеро. На вот, возьми молитву, — бабушка сунула в ладонь бумажку с синими чернильными каракулями, — читай на ночь. Или если что чудиться станет...

После слуха о скелете желающих купаться в Озере сразу поубавилось. Костя, всё сильнее погружавшийся в свои мысли, ничего об этом не знал, но заметив, что на пляж почти перестали приезжать горожане, обрадовался. Ничто не мешало ему в его долгих, тягучих и неясных размышлениях у воды. А думы о бессмысленности бытия всё больше терзали Константина. Как терзало его и молчание Алёны, неизменно выходившей к нему из прибрежных камышей. И необъяснимая невозмож-

ность завести с ней разговор. С тех пор, как услышал он от неё «А всё хорошо, барин», она не сказала ни слова. Порой, косясь на озёрную девушку, Константин нащупывал в кармане бумажку с бабушкиной молитвой, но вынуть её никак не решался.

* * *

«Кто может быть опаснее пьяного водителя? Трудно представить, как мог рискнуть рабочий кожкомбината им. В.И. Ленина Шетин Н. Н. перевозить маленького ребёнка в коляске мотоцикла, чуть разглядывая колено дороги. Впрочем, нечего такому случаю и удивляться — пьянка вынудила пойти на глупость этого безответственного мотоциклиста.

Примеров нарушений за время рейда накопилось немало. Результаты рейда нас, сотрудников автоинспекции, беспокоят».

(Газета «Ленинский путь» за 15 мая 1975 г.)

«В числе мероприятий, проводимых в Иркутской области по подготовке к 150-летию восстания первых русских дворянских революционеров на Сенатской площади, художественная выставка в областном музее занимает видное место. Аquareли, линогравюры, живописные полотна, посвящённые декабристам, полно и глубоко освещают ту далёкую эпоху. Интересна и ценна коллекция картин 40 — 50-х годов XIX века, извлечённая из фондов областного музея. На этих работах мы видим людей, с которыми общались декабристы, находясь на поселении в Иркутске».

(Газета «Знамя коммунизма» за 23 октября 1975 г.)

«На состоявшемся в Женеве пятом конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями глава делегации Кубы Гарсия Альварес выступил с заявлением, в котором призвал участников конгресса осудить преступления военно-фашистской хунты, два года назад захватившей власть в Чили.

Участники конгресса осудили преступные действия хунты».

«Куколки тутового шелкопряда после размотки коконов на комбинате имени Ленинского комсомола отправлены в Казахстан, в адрес

Имантакского зверосовхоза. Оказывается, эти куколки — лакомство для песцов, лисиц, ондатр. Подкормка ими активизирует отложения жира в организме. Меха зверьков становится блестящим и эластичным. Любят куколки и рыбы, они быстро набирают вес».

(Газета «Правда» за 13 сентября 1975 г.)

7. ФЕНИКС

Разве станешь разговаривать с приятелем или с отцом о смысле жизни? Нет, конечно. В лучшем случае ухмыльнутся иронически, в худшем — примутся объяснять, а ведь видно, что сами не знают...

Постепенно сложилось так, что приятелей у Константина оставалось всё меньше, а вот друзей, пожалуй, что и вовсе не осталось. Правда, была подруга детства. Наташка. Кудрявые русые волосы, белые зубы на фоне тёмного от загара лица, крепкие стройные ноги, от взгляда на которые ныло в груди и тяжелело в животе. Куда только не заносило их в лихие каникулярные лета. Любимое место — чердак огромного деревянного сарая; такие были ещё, несмотря на проведённый по всему Городу газ. На некоторых из них доживали свой век голубятни с пегими турманами, белоснежными павлинами, надменными яacobинцами, голенастыми дутышами и обычными сизарями. Июль, запах тополиной смолы и запах тлена забытых и брошенных вещей, и при этом — незыблемое ощущение бесконечности жизни.

Сарай предназначался к сносу, и уже сорваны с ветхих дверей замки, вынесены из погребов заплесневелые банки с вареньем, крытые промасленной бумагой, замотанной по горлышку суровыми нитками, подняты кадки с квашеной капустой и опростаны в трёхлитровые «баллоны», перепрятано по иным кладовым всё ценное с точки зрения скупого и скучного взрослого мира. Но осталось ещё очень много гораздо более ценного в глазах тринадцатилетних подростков.

Наташка ловко пробиралась среди чердачных балок и стропил, переступала через коробки, забытые тюки с ненужным тряпьем, прыгала на полуиздохший диван, который жалобно скрипел пружинами; и время от времени обо-

рачивалась на неуклюжего Костю, сверкая в сумраке белыми зубами.

Косте потом снились иногда эти косые лучи солнца, падавшие на бесценную рухлядь из прорех в крыше и делавшие чердак похожим на трюм брошенного где-то в Бермудском треугольнике потрёпанного штормами парусника.

— Смотри!

Хрустальный шар, в котором словно в неведомом мире, в чужом измерении плавал уменьшенный и перевернутый наш. И двое вглядывались в этот мир и видели самих себя — маленьких и перевернутых.

— Смотри!

Коробка, набитая фантиками, — целая коллекция шуршащих одежек «Мишек на Севере», «Красных маков», «Раковых шеек», «Алёнушек» и другой детской бесценной валюты...

А это наш закуток. Вот разноцветные велосипедные эмблемы, приколотенные отцом к дверному косяку, вот брошенная коробка с ржавыми, гнутыми гвоздями, болтами и шайбами, вот в старой тяжёлой раме фотография прабабушки с прадедушкой. Отец всё собирался отреставрировать раму, заменить стекло и забрать портрет из сарая. Прадедушка — совсем чужой, незнакомый усатый мужчина со строгим живым взглядом. То ли он сгинул где-то на фронтах Первой мировой, о которой в Костиной голове плавали смутные образы, перепутавшиеся сразу и с Наполеоном, и с Александром Невским, и Чапаевым... А может, как раз про него рассказывали за застольем в дедовом доме, что замёрз он, возвращаясь с заработков, не дойдя до родного крыльца ста метров.

— Ну, застрял! — подгоняет Наташка, и снова перед Костей мелькают её загорелые ноги со светлыми чёрточками заживших царапин на крепких икрах.

Девчонка кинулась к выглядывающему из хлама большому голубому глобусу и — глаза Наташки сверкнули падучей звездой — исчезла из вида. Костя кинулся за ней и, почувствовав, как пол уходит из-под ног, успел лишь царапнуть рыжий бок Африки, полетел вниз.

Пыхнуло, как когда-то, белым и алым, и Костя начал бесконечное падение в старый кошмар, но Наташка трясла его за плечо и не

дала падению продлиться в бесконечность, да ещё боль в локте, которым он ударился о разошедшуюся кадку, заставили открыть глаза. Они сидели на цементном полу глубокого погреба. Наташка передёрнула голыми плечами:

— Прямо как в могиле! — загорелая кожа её подёрнулась гусиными пупырышками.

Костя смотрел вверх, на квадратный лаз, и надеялся, что деревянная лестница, ведущая к нему, ещё не совсем сгнила. Но лестница, почувствовав, что сарай брошен и она никому уже больше не нужна, тихо истлела: стоило поставить ногу на первую перекладину, как та, словно пластилиновая, отвалилась.

Пришлось, кое-как опираясь на кадку, подсаживать Наташку, едва дотянувшуюся до края лаза; а потом Наташка, протянув остаток хоккейной клюшки, вытягивала Костю из сырой западни. Ссадин у обоих прибавилось, но как же весело, как тепло было на белом свете, как мягко светило солнце, склонившись над самой крышей — а вот только что было утро! — как знакомы запахи дома, и посвист ласточек, и шелест сирени, и крики мальчишек с соседнего двора...

Да, Наташка была свой парень и как раз с ней можно было бы поговорить обо всём. Но, как уже и было сказано, воспитанная отцом-бомбоделом, была она категорична и безапелляционна: «...Бога нет, а смысл жизни в строительстве коммунизма, в завоевании счастья для всех людей на планете...»

— А у кого его нужно отвоёвывать — счастье? — спросил Костя как-то у девчонки.

— Ты дурак! — ответила Наташка.

...Всё всегда когда-то кончается. Наташка на глазах повзрослела, обогнав сверстников, научилась так тонко-иронично улыбаться, что улыбка эта моментально указывала тебе на твоё законное место: мальчик! Она нацелилась на взрослую жизнь, она метила в актрисы или, на худой конец, в манекенщицы.

С Наташкой Костя теперь почти не виделся. Правда, появилась Лена. И познакомила с ней Константина как раз Наташка — она словно бы привела её себе на смену.

Лена была совсем другой — задумчивой тихоней, работала в бюро проката и готовилась к поступлению в вуз. Правда, Костя чувствовал, что за этим спокойствием, доброжелательностью и мягким юмором кроется неведомая ему пока сила.

Что их сблизило, ни он, ни она сказать, пожалуй, не смогли бы. Ну да, книжки читали одни и те же, одних и тех же слушали бардов, осенью любили пошуршать листьями в тихой берёзовой роще. Могли помолчать каждый о своём. Не с каждым получается просто молчать... И всё...

Именно Лена надоумила Костю поступить в изостудию. Рисовать Костя приохотился, когда месяцами валялся недвижно на больничной койке, когда книги да бумага и карандаши стали единственным развлечением. Увидев его рисунки в блокноте, который он постоянно носил при себе, сказала:

— Не зарывай талант. Глядишь, ещё в театральные декораторы вырастешь. Спасибо мне потом скажешь.

И теперь три раза в неделю, отработав в театре, Константин ехал через весь город в художественную школу.

— Кость, а ты не мог бы нам обложку для журнала оформить? — спросила его однажды Лена.

— Могу, — не задумываясь, ответил Костя. — А что за журнал?

— Журнал... — Лена замялась. — Только, Кость, это большой секрет. Серьёзно. Никому ни полслова! Без шуток.

Она вздохнула, покусала губы и, как бы решившись, глядя ему прямо в глаза, объяснила:

— Видишь ли, мои друзья создали тайное общество — «Феникс».

Костя чуть было не фыркнул, сразу вспомнив недавно смотренный фильм «Друг мой Колька», где школьники организовали тайное общество «Тотр» — тайное общество троечников. Но что-то в глазах Лены заставило его сдержаться.

— Я тебе про общество рассказать ничего не могу, не имею права. Слово дала. Да и сама я в нём не состою, просто ребят знаю. Так вот они хотят выпустить журнал «Песни Феникса» со стихами, рассказами, ну и ещё кой-чего. А ри-

совать толком никто не умеет, вот они меня и попросили найти надёжного человека.

— А я надёжный? — неожиданно для себя спросил Костя.

Лена пристально посмотрела на него:

— А разве нет?

Стихи и рассказы, напечатанные на машинке и написанные от руки, Косте по большей части не понравились. Это было совсем не то, что читал он в книгах отцовской библиотеки. Вот только отрывок из повести какого-то Солженицына об Иване Денисовиче задел, а пожалуй, даже потряс.

Птица Феникс получалась такой, какой Костя её и задумал. Распахнув разноцветные крылья, она устремлялась в ярко-синее небо, теряя пепельно-фиолетовые перья в языках пламени, которое рвалось вслед, но не доставало её.

— Знаешь что, Костя, ты эту работу, пожалуй, не забирай, — сказал однажды руководитель студии. — Пусть она вот здесь, на стеллаже, постоит, пока ты её не закончишь. А потом мы её на какой-нибудь конкурс отправим. Очень удачный рисунок, очень! — он отстранил от себя лист и прищурился. — Правда, вот здесь, сверху, пустого пространства многовато, — добавил, задумчиво пожевав губами. — Понятно, ты хотел показать, что Фениксу есть куда лететь, куда стремиться, но, мне кажется, многовато... Впрочем, поработай, там видно будет.

Пространства над взлетающим Фениксом действительно было многовато, но не мог же Костя сказать, что это место оставлено под название журнала.

А через несколько дней произошло событие, которое стоило Косте не одну бессонную ночь. Он пришёл на занятия раньше, чем требовалось, и сидел в скверике на скамейке, когда увидел, как к нему направляется молодой высокий мужчина.

«Лощёный», — сразу определил его для себя Костя. Тщательно выглаженный костюм, неброский, но модный галстук, белейшая рубашка, начищенные ботинки. Симпатичное лицо. Но отчего-то Косте стало неудобно, когда незнакомец сел рядом и улыбнулся. Костя невольно улыбнулся в ответ.

— Константин, я ведь не ошибаюсь? А меня зовут Яким Юрьевич Минов. Я вот из этой организации.

Он вынул из нагрудного кармана красную книжицу с золотым тиснением.

— Понятно, — только и смог пробормотать Константин.

— Так вот, я знаю, ты рисовать любишь, изостудию посещаешь. Мне там понравилась одна твоя работа. «Феникс», кажется, называется... Очень хорошая работа, яркая, оригинальная...

Константин обмер, но постарался не отвести взгляда и даже улыбнулся:

— Спасибо.

— Да, так вот, не скажешь ли мне, отчего вдруг Феникс? Другие ребята пейзажи рисуют, портреты... А у тебя вдруг Феникс. Просто интересно, как у художника рождается идея... Или, может быть, тебя кто-то попросил? Так сказать, творческий заказ.

— Да я и сам не знаю. Прочитал легенду о Фениксе. И стал её себе представлять, как она могла бы выглядеть.

— А я подумал, что кто-то заказал...

— Да нет, я же самоучка, — Константин даже фыркнул, — да ещё и начинающий. Кто мне станет заказывать?

— Понятно, — тихо сказал Лощёный. — Скажи, а ты случайно Федю Панова не знаешь? Такой невысокий, плотненький. Белокрысы.

— Нет, к нам в студию такой не ходит. Нет, не знаю...

— А с Леной-то из Литклуба ты знаком, конечно.

— Да, она меня несколько раз приглашала.

— И что вы там, в Литклубе, делали?

— Я-то ничего не делал, слушал только, а они стихи читали, обсуждали.

— Интересно?

— Да, интересно.

— Вот что, Костя, буду с тобой откровенен, но только обещай мне, что наш разговор останется в полнейшем и безусловном секрете. Сам понимаешь, — и он постучал ногтем по карману с удостоверением.

— Понимаю. Обещаю.

— Есть сведения, что Лену хотят втянуть в противозаконное дело, в серьёзное преступление против государства. Я не шучу.

Константин молчал, и Лощёный продолжил:

— Сама она девушка неплохая, из хорошей семьи, но уж больно доверчивая. Так вот нужно не допустить беды. Если вдруг что-то необычное от неё услышишь или вот с Фёдей Пановым она тебя познакомит, ты мне сразу позвони, — он протянул бумажный квадратик с номером телефона. — Скажешь: мне Яким Юрьевича, — и нас сразу соединят. Хорошо? Я на тебя надеюсь, у тебя такие хорошие родители, папа такой заслуженный... Нужно, чтобы он тобой гордился... Договорились?

Костя кивнул головой.

Лощёный пристально поглядел в глаза Косте, потом неторопливо поднялся и пошёл по аллее, а Константин сидел и чувствовал, что пальцы его мелко подрагивают и противно сосёт под ложечкой. Чёрт, они всё знают! Что делать, как быть? Бежать к Лене, всё рассказать ей? И что?

И зачем Лощёный упомянул отца? Пугал по всему...

Константин вдруг ощутил себя пойманным в ловушку.

III

Отзвучали праздничные речи, гости за столами потихоньку оттаяли от официоза, принялись разговаривать, смеяться, зазвенела посуда, затренькали фужеры. Всё, правда, негромко, степенно, как говорится, чинно-благородно, без излишней суеты и разухабистости, не в ресторане всё же.

Генсек с фужером в руке обходил столы. У одного остановился:

— Ваше Святейшество, я вспоминаю Саратовскую пустынь, где был прославлен Серафим Саратовский. Какая там благодать! Меня туда в детстве водила мама. Я причащался, ел за всеобщей очень вкусный хлеб с вином. Там было море цветов. Какая это была неземная красота!

— А вы отдайте её нам, Леонид Ильич, мы воссоздадим это благолепие. Пусть люди утешаются.

Брежнев задумался, потом тихо ответил:

— Ну что ж, может, придёт время...

1. ЖИЗНЬ — ТЕАТР?

Речи о том, чтобы отдать рисунок, конечно, не было, но и отказывать, идти на попятный нельзя — не по-мужски как бы.

Когда он принёс почти завершённый эскиз обложки Лене, та подняла брови:

— А где же название?

— Лен, понимаешь, вы ведь журнал будете делать чёрно-белым, а эта работа цветная. Она

в чёрно-белом варианте потеряется. Совсем не будет смотреться.

— Что же делать? — Лена отвела рисунок на вытянутую руку. — А хороша птичка!

— Да ничего страшного, — махнул рукой Костя, — я другую нарисую. В чёрно-белом варианте, контрастную, не хуже этой. И быстро. Я уже знаю как.

С Леной они виделись теперь почти каждый день, гуляли, толкались в книжном магазине, ходили на речку, несколько раз он проводил её через служебный вход в театр... Но однажды, сидя на лавочке в сиреновом сквере, Лена вдруг как бы шутя сказала:

— Взял бы ты меня замуж.

И хотя при этом она озорно глядела на него, было понятно, что это шутка не совсем шутка, а может быть, и не шутка вовсе.

От неожиданности Костя смутился, мысли как-то сразу смешались. Жениться, жить, как все... Выучиться на театрального декоратора, привыкнуть не замечать несовершенства бытия, перестать обращать внимание на несправедливости и вывихи человеческого мира, может быть, даже принять принцип жизни «мой дом — моя крепость» — и всё!

Заныло под ложечкой — а Алёна? Костя с сосущей тоской в сердце немедленно и совершенно ясно осознал, что не будет в его жизни ни Лены, ни Алёны. Что-то будет другое.

Видимо, почувствовав Костино смятение, Лена вздохнула и тихо, уже без улыбки молвила:
— Забудь...

Но забыть было трудно. Может быть, как раз Лена и была ему идеальной парой — понимала его, чувствовала, жалела необидной жалостью.

Но та ли это жизнь, которая ему — именно ему — была нужна? Эти бардовские посиделки с одними и теми же заунывными песнями, литературные разговоры и наивная фронда...

Да и журнал, и тайное общество... Костя чувствовал, что всё это не то, не то, не настоящая жизнь; опасная, но игра, имитация, которая не даст никаких ответов и ни к чему значимому не приведёт.

Да ведь, если честно сказать, большинство горожан эта жизнь, несмотря на все её вывихи, на нехватку то того, то этого, на привычное хамство, в целом всё-таки устраивала. Вот Лена возмущается, что у кого-то есть привилегии, а у кого-то сплошные трудности и проблемы. Что обещалось равенство, а его как не было, так и нет, и по всему не будет. И чиновники, особенно партийные, смотрят на простой люд свысока, как на обслугу.

— ...Нет, ты подумай, — горячилась она, — что про нашего Кондратьева рассказывают! — Он третий секретарь горкома, лекции против пьянства читает, весь такой правильный-преправильный, а на прошлой неделе, возвращаясь из Москвы, напился в поезде и дебош устроил! Проводницу побил. И что? Да ничего, даже выговора не схлопотал. Это вот как?!

Как и всякий правоверный октябрёнок-пионер-комсомолец, Костя искренне верил в светлое будущее, в равенство и всякое такое, но жизнь эту веру незаметно, тихой сапой стирала, истончала, делала всё более призрачной и формальной. Конечно, это совершенно очевидно — социализм лучше, чем капитализм и уж тем более империализм. И жить действительно становилось всё лучше. Но вот люди отчего-то лучше не становились... Отчего? Знать бы...

А время идёт, идёт и ждать не будет: живи сейчас и тут, среди этих людей, других-то нет. С одной стороны — Лена, с другой — Лощёный. И с этим нужно что-то делать.

Но время шло, а что делать, Константин придумать так и не смог. Да и вообще, никак

дальнейшая жизнь не выстраивалась, не ясно было даже, чего он сам-то хочет. Об институте и думать нечего. Не шустрить же до самой пенсии рабочим сцены: Коська принеси то, подай это, сбегай туда-сюда. Нет, по правде сказать, жизнь в театре сама по себе текла интересная, временами довольно бурная; народ тут хоть и своеобразный, взбалмошный, а порой вредный, но забавный, творческий. И весёлый, несмотря на всяческие интриги и интрижки. Но театральное таинство, волшебство возникновения на подмостках иного пространства и времени, удивительные перевоплощения обычных людей в героев иной жизни, которые поначалу захватили Костю, постепенно развеивались, стущёвывались. Творчество... Однажды, намаявшись с тяжёлым реквизитом, он задремал на диванчике в полутёмном закулке рядом с кабинетом главного режиссёра.

Разбудили голоса из открытой двери кабинета. Режиссёр Сумбат Михайлович Бекембаев отчитывал пожилого актёра Василия Соколова-Чернявского:

— ...Ролью надо жить! — возбуждённо брызгал слюной Бекембаев, бегая по кабинету. — Пони-маешь, жить! А ты что? Весь спектакль проходил как лунатик! Душу надо в роль вкладывать, смеяться и плакать всерьёз! А ты что? Так спектакль не пойдёт, на такой спектакль зритель не пойдёт, он нам с тобой не поверит! Ты же ведущий актер — двадцать пять лет в театре...

— Двадцать семь, — меланхолично поправил Соколов-Чернявский.

— Тем более! Души нужно больше, души! Ты же ведь это понимаешь?

— Понимаю, — обречённо кивал головой Соколов-Чернявский.

— Ну так в чём же дело?! Роль должна прорасти в тебе, как зерно в почве, расти из тебя, заполнить твою душу и завладеть телом. Ты должен забыть о зрителях, о театре, обо всём на свете! Только роль, только жизнь героя, только ко...

— Слушай, Михалыч, — актер подёргал возбуждённого режиссёра за рукав. — Сейчас в буфете очередь будет — не протолкнёшься, пойдём обедать.

— Обедать? — Бекембаев замолчал, посмотрел на Соколова-Чернявского, большим и

указательным пальцами вытер влажные уголки рта. — А что, уже обед? Пошли!

Не то чтобы пришло разочарование в театре, но всё это тоже не то, что было бы похоже на настоящее. Константин даже иногда жалел актёров: вот день за днём они живут чужими жизнями, чужими судьбами, а своя-то жизнь уходит! Ну, съездят с семьёй в отпуск в Ялту или там в Сочи, ну, на гастролях от привычного быта оторвутся. Но много ли в этом настоящего счастья? Что в итоге-то? Да знать бы ещё, что такое настоящее счастье...

— А ты знаешь, что в старину актёров хоронили за кладбищенской оградой, — усмехнулся дядя Коля, когда Константин рассказал ему про Бекембаева и Соколова-Чернявского, — за оградой, как самоубийц и проституток.

— Не-е-ет. Почему?

— Видишь ли, когда актёр играет роль, он как бы впускает в себя чужой дух. Дух персонажа, которого играет на сцене. Это считалось колдовством, через это духи и демоны проникали в наш мир. Ну вот поэтому актёрство считалось грехом. М-м-да... «Вся жизнь — театр, а люди в нём актёры». И каждый от рождения до смерти играет свою роль...

Да, роль. Понять бы, что это за роль. И кем она написана. И для чего...

Константин всё сильнее ощущал зыбкость окружающего мира, его ненадёжность и неструктурированность, а оттого и свою душевную неустроенность. А тут ещё Лощёный. Всё это нависало, давило, затуманивало будущее.

Было совершенно ясно, что встречи с Лощёным не избежать. Звонить ему Костя, конечно, не станет, но он прекрасно понимал, что Лощёный сам найдёт его в любой момент. Мысль о том, что нужно как-то выбираться из этой ситуации, всё сильнее давила на сознание: жить так становилось нестерпимо, а что делать — неизвестно. По всему выходило, что места ему в этом мире, среди этих людей, по крайней мере, в этом Городе нет. А где — есть?

* * *

«Обязуюсь поставить к столу горожан не менее десяти тонн солёных и маринованных рыжиков, груздей, сыроежек, — записал в своём

договоре с заготконторой лучший грибовар Семёновского района Т. Красильников. Высокие обязательства и у таких же, как он, признанных мастеров грибного приготовления В. Романова, А. Юркова и других сельских пенсионеров. В прошлом году по поручению заготовителей они закупили у населения и превосходно засолили в бочках многие тысячи килограммов грибов. Нынче делают ещё больше».

*(Газета «Горьковская правда»
за 3 августа 1980 г.)*

«Коллективу мебельной фабрики по итогам Всесоюзного социалистического соревнования за четвёртый квартал 1979 года присуждено Переходящее красное знамя Министерства лесной промышленности СССР и ЦК профсоюза и первая премия».

*(Газета «Ленинский путь»
от 26 февраля 1980 г.)*

«Население Афганистана оказывает всё более активное содействие силам безопасности и армейским подразделениям в борьбе против засылаемых из-за кордона банд террористов. По сообщению агентства Вахтар, из различных провинций в создаваемые там добровольческие отряды самообороны вступают рабочие, крестьяне, представители интеллигенции».

(Газета «Правда» за 12 августа 1980 г.)

2. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Однако ситуация разрешилась сама собой. Однажды вечером Лена зашла за ним и позвала гулять. Константин сразу понял: что-то случилось.

— Кость, ребят арестовали!

— Каких ребят?

— Ты что? — округлила глаза Лена. — «Феникс» же. Не понимаешь? Всех арестовали. КГБ. Меня к участковому вызывали, расспрашивали всякую ерунду... И почему к участковому? Я думаю, нам бы пока встречаться не стоит. Временно. Мало ли что...

Константин хотел было тут же выложить про Лощёного, но сдержался. Видимо, вызова к участковому вскорости ждать и ему.

Но его никто никуда не вызвал. По всему, рисунок для обложки самопального журнала Лена передать не успела...

О небывалом и невероятном для закрытого города событии, о молодых заговорщиках шептались в заводских и конструкторских курилках, на кухнях, в пивнушках и в магазинных очередях. Одни говорили, что кагэбэшники нарыли целую подпольную антисоветскую сеть, другие утверждали, что группка была небольшая, но хорошо вооружённая, третьи точно знали, что было их трое и они захватили ядерный реактор на одной из секретных площадок. Но толком, конечно, никто ничего не знал. Ну, как никто. Кому следовало — знали.

В те дни горожане, проходившие мимо Скверного дома поздним вечером, могли видеть горящие в неурочный час окна в третьем этаже. Им было невдомёк, что за окнами как раз сейчас соответствующие люди разбираются с «революционерами».

На столе перед сурового вида женщиной средних лет лежит раскрытая папка с матерчатыми тесёмками. На обложке аккуратным почерком написано «Секретно. Экз. №1». Кроме неё за столом ещё трое мужчин, судя по тому, что все смотрят на женщину, она тут главная.

Перед столом стоит, пряча нервные руки за спиной, паренёк — один из «фениксов». Ему очень не хочется, чтобы было заметно, как ему страшно. Но было заметно. Один из мужчин, шумно вздохнув, спрашивает:

— Зачем ездили в Горький к Сахарову?

— Хотели попросить денег и оружия.

— Кто, по-твоему, Сахаров?

Парень замаялся было, но, опустив очи долу, всё же ответил:

— Контра.

Мужчина снова вздыхает, собираясь задать следующий вопрос, но женщина перебивает его:

— Ваша политика иезуитов?

— Парень явно не понимает, чего от него хотят, и, запинаясь, объясняет:

— В наши планы входила ликвидация нежелательных лидеров, например Мао. Ещё входила в планы помощь «Чёрным пантерам», создание интербригад.

Женщина хмурится, мужчины отворачиваются, прячут взгляды, едва сдерживая улыбки: Мао они хотели ликвидировать, дурачки...

Одного за другим по очереди вводят в кабинет остальных.

— Планировали реорганизовать избирательную систему.

— Хотели изменить систему управления страной.

— Наказать тех, кто деньги зарабатывает незаконно.

Один из мужчин спрашивает:

— А с чего бы ты начал свою жизнь заново?

— Попросился бы на работу в КГБ...

Кто-то, не выдержав, фыркает.

Потом, спустя десятки лет, одни члены «Феникса» по-разному станут рассказывать эту историю, а другие и спустя годы будут молчать...

Чего же в действительности хотели «карбонарии» из суперсекретного Города? Свободы, конечно, свободы! Свободы совести, собраний, слова — ну, и всякое такое, ясно же... И всё под лозунгом «Долой Брежнева!»

Эти шестнадцати-восемнадцатилетние пацаны собирались добыть оружие. Ну, например, отобрать автомат у часового на «периметре». А потом, ясное дело, пробиться к реактору и выдвинуть ультиматум. А в случае провала бежать на Каспий, потом на лодке — в Иран, а дальше — окольными путями на Кубу.

Понятное дело, сотрудники КГБ накрыли доморощенных революционеров быстро. Но, позанимавшись ими некоторое время и всё для себя уяснив, передали в руки партии, а та привлекла к «разборкам» педагогов и комсомол. Серьёзно наказывать никого не стали. И вскоре на полки партархива легли в папках с тесёмками листки с отпечатанными на пишущей машинке протоколами с пометкой «Секретно».

Казалось бы, всё обошлось и можно свободно вздохнуть, но никакого облегчения Константин не почувствовал. Вот возьмём, к примеру, эту самую свободу. А разве её нет? Константин никакой несвободы не чувствовал. Всё, что ему было нужно, у него было. Ну, за границу нельзя съездить. Так и правильно — город-то секретный. Да и не нужна ему никакая загра-

нища. А вот внутренняя несвобода — это да. Тут тяжело что-то непонятное душу, не давало покоя. А что — не ясно. Ясно только, что мир построен неправильно, нескладно и что с этим делать, совершенно непонятно. Да и можно ли что-то сделать. А если можно, то как?

Всё чаще Константин выводил из сарая велосипед и уезжал к Озеру. В лесу, в природе, в шелесте берёз и трепете осин, в беззаботном посвисте птиц, в лёгком беге облаков, в спокойствии озёрной воды он находил временное успокоение.

Поздней осенью случайно набрёл на старую заброшенную избушку в лесу. Зимой ранним субботним утром складывал вещи в рюкзак, перекладывал так и сяк, чтобы удобнее было нести, чтобы всегда можно было достать без хлопот понадобившееся в пути. Всё просто: спички — в целлофан, чтобы не промокли, соль — в баночку из-под майонеза, чтобы не отсырела. Запасные носки, к кожаным перчаткам ещё и меховые варежки: мороз на дворе.

Как же славно брести по зимней белой дороге, каркает в гулкой глубине леса простуженный ворон, а город, уже пропавший за поворотом, потихоньку тает и в голове. Уходишь, уходишь, но можно ли уйти от вопросов, которые старательно прячешь за созерцанием фарфорового с гжельской синевой зимнего леса... Уходишь — от кого, от чего, зачем? На самом деле человек всю жизнь уходит от одного вопроса: зачем она, эта жизнь? Другое дело — куда ж от него уйти? В пьянство, в быт, в церковь? В шизофрению? Лев Толстой ушёл из Ясной Поляны. Такой большой писатель, мыслитель и философ, а не сообразил — невозможно уйти!

В нужном месте Костя сворачивал с трассы в лес, лыжи тут же увязали в снегу, и становилось не до красот. И не до вопросов. Приходила в голову дурацкая мысль: вот почему интеллигенты кончают счёты с жизнью чаще, чем грузчики, или, скажем, колхозники. Помашешь вилами, покорячишься на морозе с тракторной гусеницей — не до вопросов будет, поесть и — в койку! А может, не такая уж и дурацкая. Хруст снега под лыжами привлёк пару соек. Не показываясь, они тревожно верещали где-то сбоку, оповещая лес о вторжении.

Красное солнце наткнулось на острую вершушку ели, когда Константин выбрался на знакомый зимник. Можно снять лыжи, укатанная лесовозами дорога со следами волочившихся сосновых хлыстов звонко хрустит под ногами. По зимнику идти одно удовольствие — как по бульвару, только вместо тополей и лип огромные ели и сосны вдоль пути. Вот и знакомый поворот, и не замерзающий даже в морозы ручей, ещё с полкилометра — и сторожка...

Нет ничего лучше! Дикий лес, снега по грудь, избушка, в избушке — печка, а в печке — огонь. Сначала холодно, сыро, дымно и неприятно, но вот печурка раскопегарилась, дымоход заработал, подсох мох в пазах, а на столе появилась еда. И всё. Планета крутится себе в космосе, несёт сквозь мёртвую пустоту континенты, горы, океаны, а тебе всё нипочём. Древняя домушка кораблём рассекает время, храня тебя от холода и тревог. Еда есть, котелок закипает для чая, тепло к лежанке зыбкими волнами прибивается, свечка на столе огоньком подмаргивает, а под полом, почуяв съестное, мышь подбегает к щели в надежде на крохи со стола нечаянного гостя. Выйдешь поздним вечером на крыльцо — тихо, как во сне. В небе то сквозь прорехи в облаках звёзды, словно пыль бриллиантовая, то кисея из огромных невесомых снежинок — пушистых, неспешных. В общем, так не бывает. И так ли уж важны вопросы, и так ли уж важно знать ответы...

Одним таким зимним вечером, так вот сидя на крыльчке, Константин услышал лёгкий скрип снега. По зимнику следом, оставленным ещё вечером, бежал волк. Метрах в десяти от избушки он с рысцы перешёл на шаг, поднял голову, уставился на Костю и остановился. Огромный, красивый, словно из мультфильма про Маугли, он картинно застыл, и можно было разглядеть каждую шерстинку на его белесом, густом и поблескивающем от инея воротнике, слышать его легкое дыхание и чувствовать дикий, едва ощутимый запах.

Человек и зверь смотрели друг на друга: Костя с легкой оторопью, волк, как казалось, — с иронией. Странное это было состояние. Страх не было. «Вот волк, — медленно думал Костя, разглядывая застывшего зверя, — бежит себе по

лесу и ведать не ведает, что есть душа, которая требует того, не знаю чего, и зовёт туда, не знаю куда. Ведь всё так просто — выследить добычу, загнать и, насытившись, спокойно уснуть в тёплом логове. А что ждет их в будущем, не знают ни он, ни человек, никто другой. Да и вообще этому зверю счастливо неведомы такие нестерпимые понятия — прошлое, будущее...»

Наконец волк, словно очнувшись, отвернулся, сделал громадный прыжок через синий сугроб и бесшумно исчез в лесу.

Пригревшись в старом спальнике, на хвойной подстилке лежанки, Костя всё вспоминал волка. И думал: случайна эта встреча или она что-то значит? И как прочитать неясное послание, доставленное ему неизвестно от кого этим белогривым зверем? Ведь надо же, на любой вопрос можно ответить. Ну, то есть практически на любой. А на главный — никак! А как жить, не зная — зачем? Однако все человеческое с виду спокойненько живет и без ответа, а ведь не может же быть, чтобы у каждого где-то в глубине души не шевелился этот вопросец... Да ведь не станешь же его каждый день, каждый час себе задавать и колотить головой об стенку от бессилия. Волку, может, и легко так жить, а человеку?

Уже в дреме Константину подумалось: а может, мы вопрос неправильный задаем? Может, и не важно — в чем смысл жизни? Может быть, главный вопрос, в чем смысл смерти? И если понять, зачем человек умирает, тогда сразу станет ясно, зачем он живет?

Поленья в печи прогорели, малиновые угли начали затягиваться серым, вот пропадут последние синие угарные язычки — и заслонку нужно будет задвинуть, чтоб тепло не уходило в морозное небо. Свечка стояла наполовину, окно подернулось папоротниками да павлиньими хвостами. Тихо. Так тихо, что не верится, что кроме тебя еще кто-то есть на этой планете. Невобразимо тихо. Даже страшно стало бы, если б мышь не возилась все время под трухлявым полом и не попискивала...

Константин решил и летом забираться в глушь в свою избушку. Но весной какие-то люди, по всему алкаши, устроили в ней гулянку и то ли по неосторожности, то ли из озорства её спалили.

Едва просохли дороги и сошёл лёд, Константин снова отправился на Озеро. За зиму Костя ни разу не вспомнил об озёрной девушке и, подходя к берегу, почувствовал тяжесть в груди. Он и боялся, и хотел увидеть Алёну. Но день у Озера словно стёрло из памяти, и вечером, уезжая в город, он не мог вспомнить, появлялась она на берегу или нет. Это было странно...

История со скелетом понемногу забылась, и Озеро вновь жаркими деньками наполнялось людской суетой.

Эти трое — худой белобрысый, рыжий крепыш и толстый, бритый наголо, с заплывшими свиньячьими глазками, по всему его ровесники, — прицепились к нему ещё на Озере. Начал бритый:

— Эй, малахольный, — зачем-то пнул он лежащий на песке Костин велосипед. — Закурить не найдётся?

— Не курю, — глядя ему в глаза, ответил Костя. Дядя Коля учил его: всегда смотри прямо в глаза, не отводи взгляд, а если придётся, бей первым самого здорового. Может, они в конечном итоге тебя и побьют, но потом пожалеют, что связались, и в другой раз пройдут мимо — себе дороже.

— А тогда дай на велике покататься, — потеснил плечом смутившегося толстого рыжий, — чего ему тут просто так валяться.

Стало ясно, что драка становилась неизбежной; но тут крепкий парень постарше, загоравший неподалёку, приподнялся на локте и крикнул на троицу:

— Алё, шпана, а ну отстали от человека!

Рыжий хотел было что-то сказать в ответ, но белобрысый шлёпнул его по плечу:

— Айда купца резать! Чего тут...

Однако вечером, когда Константин возвращался с озера, задумчиво крутя педалями, троика вышла из придорожных зарослей ему навстречу...

«Не буду драться», — решил вдруг про себя Костя, вспомнив слышанные где-то слова «зло приумножает зло». И сам удивился своему решению.

Первым ударил белобрысый. По голове. Удара этого Константин будто бы и не заметил. Рыжий вырвал из рук велосипед, а толстый ткнул кулаком в грудь. Белобрысый снова уда-

рил, и Костя почувствовал, как из носа струйкой потекла кровь.

— Чё же ты не дерёшься, малахольный, — злю выкрикнул рыжий и снова ударил.

В голове у Константина затуманилось, он почувствовал, что планета вот-вот ускорит свой бег и сбросит наконец его с себя навсегда. «Ну и пусть, — подумал Костя, — пусть будет как будет...»

Но планета и не думала ускоряться, вместо этого в чистом небе оглушительно громынуло, стремительно сошлись над лесом чёрные тучи с просверками голубых молний, и на лес рухнул ливень. А со стороны Озера поднялся и понёсся вдоль по дороге песчано-водяной смерч. Он налетел ледяным холодом на парней, странным образом не задев Костю, и те в панике, прикрывая головы руками, побежали прочь, в сторону шоссе.

Костя поднял велосипед и побрёл было вслед за ними, но ноги его не слушались, в голове гудело, сам не понимая как, он свернул с дороги и упал под старую ель, не почувствовав ни сырости, ни холода, ни колких опавших иголок. Только словно сквозь вату прозвучало тихое, едва слышное: «А всё хорошо, барин...»

3. ДОКТОР СУСЛОВ

Психиатра Суслова в Городе знал каждый. Ходила в народе забавная история о том, как доктора Суслова пациент сдал в областной психдиспансер. Косте рассказал её дядя Коля за очередной трапезой в бутафорской.

— Было это так. И, заметь, на самом деле это не байка, поскольку знаю я из первых рук.

— А первые руки — чьи? — любопытствовал Константин.

— А брата моего двоюродного Василия, который в психушке водителем работает. Как раз он и отвозил в тот раз Суслова с пациентом в Лихово.

Ну вот. Понадобилось одного психа отвезти в Лихово. То ли на экспертизу какую, то ли ещё что. И так случилось, что ехать с ним сопровождающим из персонала психушки было некому; вот Суслов и решил сам съездить. Ну, дорога до Горького сам знаешь какая, а ещё

от Горького до Лихова пилить. Да ещё ехали на «уазике». Пока доехали, доктор вымотался совсем. Приехали, а в приёмном говорят: дежурный врач на обеде, без него принять не можем, садитесь вон на скамеечку в коридоре и ожидайте. Сели. Сидели, сидели — Суслов и задремал. А дальше так было: псих увидел, что доктор спит, потихоньку вынул у него из ослабевших рук свою историю болезни и принялся читать. Интересно же. Тут возвращается в приёмную дежурный доктор и видит: сидят на скамеечке двое, один спит, другой историю болезни просматривает. Пациент встал, протягивает доктору историю болезни и тихонько говорит, мол, этот пусть поспит, пока оформляете, буйный он слишком. Дежурный доктор пошёл в кабинет оформлять бумаги, а псих спокойно вышел на улицу и пропал.

Ну, Суслова разбудили, в палату повели, он понять ничего не может, говорит: это ошибка, я доктор! Ему отвечают, конечно, доктор, не Наполеон же... Хорошо, Ваське ждоть надоело, и он пошёл в приёмный поинтересоваться — скоро ли. Тогда всё и выяснилось. А психа сбегавшего ещё дня три искали и отловили где-то в Арзамасе, кажется.

Байка это или не байка, но доктора Суслова в Городе знали и уважали. Был он добр, участлив и терпелив.

Тем летом уже третий раз к нему приводили пациента, который пытался самоубиться. Третий раз младшего научного сотрудника Иосифа Зильбермана забрали в милицию, а потом везли в психдиспансер. Когда его везли в дом скорби, он не вырывался, не плевался и не пытался кусаться. Просто сидел, понуриив голову, между двумя санитарями, словно хулиган с похмелья между двумя милиционерами.

Почему Зильберман не желал жить? Это и пытался выяснить доктор Суслов, в кабинет к которому неудавшегося самоубийцу-рецидивиста в конечном итоге и доставили.

— Ну, дружок, что же нас беспокоит? — тихим участливым голосом спросил он, заглядывая в чёрные глаза пессимиста.

— Что вас, доктор, беспокоит, я примерно представляю, — лениво ответил душевнобольной, — а меня-то как раз совершенно ничего не беспокоит — вот в чём беда.

— Если ничего не беспокоит, зачем же вы тогда...

— Доктор, да вы же и сами все мои ответы на все ваши вопросы прекрасно знаете. И даже в глубине души со мной согласны. У вас же на лице ясно написано, как вас эта жизнь достала. — Зильберман говорил медленно, словно вот-вот уснет. — В жизни нет ни логики, ни разума, ни смысла.

— Может быть, его просто надо уметь увидеть, смысл?

— Ну-у... Ну вот вам за пятьдесят. Десятки лет лечите психов. Скажите честно, доктор, — хоть одного вылечили?

Суслов усмехнулся:

— Кого-то вылечил, кому-то помог справиться со своим недугом и спокойно жить дальше.

— Ну, хорошо, а что значит «дальше», я спрашиваю, что? И зачем? Смысл-то, я спрашиваю, в чём? Вон баба Вера взяла и убила внука. Зарезала кухонным ножиком. Слышали, наверное. Вы знаете, почему? Вы знаете, кто кого и когда убьёт в следующий раз?

— Так вы из-за этого расст...

— Да нет, конечно! — рассердился Зильберман. — Может, это как раз и нормально — внуков убивать, а не убивать — ненормально!

— Это уж вы, дорогой, завернули что-то...

— А хотите, доктор, я вам в трех штрихах все безумие мира, всю глупость, тупость и бессмысленность человеческой жизни нарисую? И если вы скажете, что я не прав, я не стану больше самоубиваться, ладно? Но только честно, перекрестясь, говорят, вы человек верующий в отличие от меня.

— Только не волнуйтесь.

— А я волнуюсь? Вот представьте себе, доктор. Край света. Африка. Посреди выжженной саванны баобаб какой-нибудь. В тени соломенной хижины сидит маленький чёрный ребёнок с раздутым от голода животом. Только вы, доктор, это хорошенько представьте, проникнитесь! Чувствуете, как коровьим навозом пахнет и какой-то тухлой падалью, слышите, как жужжат жирные назойливые зелёные мухи? Видите, какие жалкие и тощие ножки у ребёнка? К голоду он притерпелся и боли почти не чувствует, взгляд его пуст, и только изредка он

поднимает костлявую ручку, чтобы согнать наглых мух с запекшихся губ. Он умирает, а истощенные не меньше него родители ничем не могут помочь. На беду, деревенька стоит далеко от натоптанных троп Красного Креста и благотворительных миссий, сюда не добрались бодрые белые люди в шортах с пакетами переležавшей на европейских складах муки. И маленькому черному ребёнку суждено умереть...

А теперь представьте себе, что точь-в-точь в это же самое время на другом конце света, где-то в Голливуде, актриса Джейн Фонда покупает в модном магазине новый купальник — за пять тысяч долларов. Она покупает два пестрых лоскутка, которые не прикроют ни грудь, ни попу Джейн. Эти тряпочки, конечно, не стоят пяти тысяч долларов. Просто сумасшедшие люди решили, что пять тысяч долларов стоит самомнение актрисы, самомнение портного, придумавшего этот купальник, и самомнение фирмы, изготовившей эти тряпочки... На следующий день Джейн Фонда, соблазнительно раздетая в новый купальник, в окружении охранников, фотографов и восторженных поклонников выйдет на горячий песок океанского пляжа. Тряпочки за пять тысяч американских долларов, безусловно, подчеркнут её точеную фигурку. И дамы, на которых были тряпочки всего за две тысячи долларов, просто лопнут от зависти.

В это же самое время, доктор, чернокожая семья на другом краю земли выйдет понурой похоронной процессией, чтобы закопать в горячую африканскую землю маленький трупик умершего от голода ребёнка...

— Послушайте! — воскликнул Суслов. — Да вы же талант! Вам писать нужно, вы же прирождённый беллетрист. Вот вам и смысл вашей жизни: пишите, открывайте людям глаза на их тупость и глупость, на их пороки и страстишки, будите совесть и разум. Меняйте мир к лучшему...

Зильберман долго молчал, недоверчиво поглядывая на доктора; молчал и Суслов. И так они просидели в тишине минут десять.

Доктор и сам порой не знал, что подействует на расстроенное воображение пациента. Слова и приёмы приходили иногда спонтанно, как озарение. Однажды он помог пациентке

с манией преследования, не убеждая её, что никакого преследования нет, а наоборот — согласившись, что да, да, несомненно — кто-то за ней следит.

— Но чего они хотят от вас? — спросил он измученную страхами женщину. — Они хотят запугать вас, испортить вам жизнь. И вы, прячась, убегая, показываете, что боитесь их, и играете им на руку. Они же этого и добиваются, хотят свести вас с ума.

— А что же делать?!

— Да очень просто: делайте вид, что ничего не замечаете, игнорируйте их. Живите нормальной жизнью, так, как будто их нет. Кажется весёлой и беспечной...

— Думаєте, работает?

— Уверен!

Пациентка эта теперь раз в год приходит к Суслову на приём. Она похорошела, собралась замуж.

— Помогает, доктор, помогает! Они, наверное, так злятся! Но сделать-то ничего не могут...

— А я что говорил. Жениху только ничего не рассказывайте, не пугайте его.

Зильберман наконец вздохнул и спросил:

— Вы правда так считаете?

— Да ведь вы и сами это сейчас поняли — какие слова, какие образы! Вы же рождены для писательства. Но с работы советую пока не увольняться. Нужно сначала отточить писательское ремесло, набраться опыта, тут ведь тоже свои законы, своя техника...

— Это я, пожалуй, понимаю...

Зильберман пообещает доктору, что попыток уйти из жизни больше не будет. Но обещания не сдержит. Однажды весёлым апрельским днём, встав из-за рабочего стола, он распахнёт окно и — никто в лаборатории ничего не успеет понять — шагнёт с подоконника седьмого этажа. Правда, Суслов об этом не узнает, поскольку сам к тому времени покинет наш бренный мир.

Но пока живой и воспрявший духом Зильберман отправился марать бумагу, Суслов принялся за следующего неудовлетворённого жизнью страдальца.

Сколько он уже перевидал на своём веку таких вот выпавших в иную реальность со своими непостижимыми для обычного человека законами или внешне вполне благополучных, но съедаемых обострённым чувством справедливости...

Вот и давешний его пациент, молодой паренёк Костя, которого впервые привели к нему ещё мальчишкой, которому повезло не погибнуть, упав на стройке с четвёртого этажа, явно страдал этим недугом — несовершенство мира ощущалось им как личная трагедия. Впрочем, недуг ли это или тяжкий дар — Суслов определять не решался.

Связано ли это было с падением или сидело в пациенте изначально — Суслов не знал.

По гамбургскому счёту, Зильберман был прав, точила психиатра подспудная неотвязная мысль — никому не дано понять, в чём-таки смысл жизни, зачем человек рождается и отчего вдруг жизнь его слетает с торной дороги и он пропадает в мрачных дебрях безумия. Ведь если честно, ни одна из самых остроумных учёных теорий на этот счёт ничего не объясняет, как бы остроумна она ни была...

Доктор неторопливо листал Костину историю болезни, которую и так знал почти наизусть. Казалось бы, сказать «странный» о пациенте психиатра — нелепо. Все они странные, каждый по-своему. Вон лежит в нижнем ящике стола двадцатичетырёхлистная тетрадка, от корки до корки исписанная каллиграфическим почерком — поэма под названием «Ода горсобесу», сочинённая сорокалетним пациентом. Гекзаметр, ни единого сбоя ритма, никаких прорех в смысле и логике... Но всё же даже на фоне всех странных Костя был странным пациентом. Как странно это ни прозвучало бы — он был совершенно здоров психически. И — нездоров...

Суслов посидел недвижно с минуту и, вздохнув, принялся вносить новые записи — частичная потеря памяти, найден с синяками и ссадинами в бессознательном состоянии на лесной дороге у Озера... Рассказывает о напавших на него хулиганах и о том, что от расправы спасла его русалка по имени Алёна, с которой он познакомился на Озере. При этом действи-

тельность воспринимает адекватно, беседу поддерживает охотно. Несколько заторможен, но сознание не рассеянно...

— Знаешь, дорогая, а поедем-ка на Озеро, искупаемся, — предложил однажды супруге неожиданно для самого себя доктор Суслов в редкий не занятый дежурством выходной. — Смотри, жарынь какая стоит. Я на этом Озере лет десять не был, давай развеемся...

В общем-то, в душе Суслов признавался себе, что на Озеро его поманило любопытство, хотелось посмотреть на место, где его пациент встречался с русалкой.

Народу на пляже было довольно много, но доктор с супругой отыскивали незанятый кусочек берега с самого края пляжа.

Слева плескались и шумели отдыхающие, а вправо уходил зелёный берег, поросший ивняком, от которого прямо в Озеро спускался густой камыш. Будь на месте доктора его пациент, он увидел бы, пожалуй, худенькую белокожую девушку, присевшую на выступающую из воды корягу.

Алёна каким-то образом почувствовала, что полноватый этот человек, осторожно вошедший в воду, был связан чем-то с Тем-Самым. От него веяло тревогой.

Суслов, отдуваясь и неумело загребая, сделал круг, подплыл к берегу и, встав по грудь в воде, с наслаждением подставил лицо солнцу.

Алёна легко, без брызг вошла в воду, бесшумно нырнула и, светясь пузырьками, прошла мимо доктора Суслова. Доктор вздрогнул, побледнел и испуганно шагнул к берегу.

— Что ты? — спросила с пляжа жена.

— Черт его знает, течение какое-то холодное прошло, словно лед...

— Ну, выходи, дружок, ты перекупался!

— Интересный пациент у меня образовался, зайка, — повалившись на согретое солнцем покрывало, сказал доктор. — С девушкой на этом вот Озере он познакомился, представляешь. Причем девушка эта живет прямо в Озере. Вроде русалки. Вот читаю про русалок серьезную исследовательскую вещь «Русалки в мифологии народов мира» профессора Бранса. И что удивительно — парень ведь наверняка этот труд не читал, а почти все, что рассказывает

о своей девушке, — совпадает с описаниями Брамса из верований разных народов.

4. БЫВАЕТ...

Интересно всё-таки складывается жизнь. Город видится единым, слаженным организмом, живущим по однажды заведённым законам и правилам. А состоит при этом из таких разных, ну совершенно разных людей. Люди как ёжики зимой, подумалось однажды Константину, поодиночке холодно, а прижаться, согреться нельзя — иголки не дают. Человек одинок. По-настоящему никто никому не принадлежит. А если одному кажется, что кто-то ему принадлежит, а другому кажется, что кому-то принадлежит он, то или первый, или второй, или оба разом заблуждаются. Даже ребёнок принадлежит матери только пока он в утробе. Сразу после рождения он принадлежит ещё и отцу, государству, обществу, школе, армии... то есть — никому. И вот все эти одинокие и такие разные люди живут одной жизнью и при этом у каждого — своя. Как такое может быть? Порой Константину казалось, что это только он такой — неправильный. Только с ним происходит то, что с другими произойти просто не может. Но это, конечно, не так.

В Костином Городе, несмотря на его необычность, как и в любом другом, в гуще жизни с разными людьми случались, оставаясь порой незамеченными, разные события, объяснить которые ни доктор Суслов, ни все учёные, корпящие в лабораториях на секретных площадках, никто иной — не в состоянии.

В городском фотоателье, мимо которого Костя проходил дважды в день по дороге в театр и из театра, случилось нечто, что одного из молодых сотрудников ателье — Витю Зюзина — много лет спустя привело в стан рьяных идейных уфологов.

Работал здесь фотографом степенный человек лет пятидесяти Иван Николаевич с совершенно обычной фамилией Иванов. Столь же ординарной, как и фамилия, была и его трудовая биография. После средней школы он окончил техникум бытового обслуживания населения и, получив специальность, принялся неустанно останавливать прекрасные мгно-

вения по заказу советских трудящихся — на свадьбах, детских утренниках, ёлках, вручениях красных переходящих знамен и других знаменательных событиях. И добился на этом поприще значительных успехов — всевозможных премий, почётных грамот, уважения трудового коллектива и начальства. Был Иван Николаевич человеком вполне интеллигентным, и, хотя писал в квитанциях «фото графия на плацмаса», слыл человеком в высшей степени грамотным и авторитетным, тем более что как человек творческой профессии ходил всегда в костюме-тройке и при бабочке. Делая, впрочем, исключения в самые жаркие июльские дни, когда невозможно было дойти от ателье до места съёмок, не завернув к квасной бочке или не притормозив у автомата с газированной водой. Вполне возможно, однажды он пил лимонад стоя рядом с Костей, но судьба не свела их близко, и Константин не узнал о том, что произошло.

К тому времени, став самым старшим по возрасту и опыту фотографом ателье, Иван Николаевич некоторым образом даже вошел в городскую элиту. Его приглашали снимать партконференции, делать портреты для городской «Доски почета», на которой, между прочим, со временем появился и его автопортрет, выполненный, как всегда, с большим мастерством; он стоял на майских и ноябрьских трибунах совсем недалеко от высшего городского начальства, а когда в Город вдруг ни с того ни с сего нанес визит космонавт, именно Ивану Николаевичу доверили провести ответственную фотосъёмку.

И вот у этого передового по всем показателям человека была своя страстишка. Очень любил Иван Николаевич фотографировать похороны. Казалось бы, на кой черт нужно снимать мертвого человека в гробу?! А вот поди ж ты, влезь в любую старую коробку из-под ботинок, где пылятся полузабытые семейные фотографии пяти поколений — крестьянских ли, военных или даже номенклатурных — обязательно наткнёшься на снимок: гроб, в гробу суровый человек с закрытыми глазами, а вокруг скорбные родственники. Опять же, казалось бы, люди в секретном, высоконачном Городе не должны бы быть приверженными такому суеверию. Но

нет, и здесь порой такие снимки просили сделать.

Именно заказ на такую скорбную съёмку и был для Ивана Николаевича настоящей отдушиной. Признался он в этом сам на одной из неофициальных посиделок в ателье по случаю Международного женского, кажется, дня.

— И самое главное, — толковал он, объясняя свое пристрастие, — обстановка торжественная — раз! Человек лежит не шевелясь — два, и не надо ему сто раз говорить, чтоб не моргал и не задирал шею...

А главное — фотографа обязательно приглашали на поминки, а посидеть за столом, да ещё в компании степенных людей, да еще бесплатно... Бывало, что Иван Николаевич даже говорил несколько прочувственных слов в адрес покойного, которого совершенно не знал, но пару раз сталкивался где-нибудь по производственным или иным делам...

И вот с этим обыкновенным человеком по фамилии Иванов приключилась совершенно необыкновенная история. Однажды пригласили Ивана Николаевича на проводы в последний путь первого секретаря горкома партии. Известно, что первые секретари горкомов живут, как правило, дольше, чем рядовые строители коммунизма, но все ж таки и они порой уходили туда, где Вечный Коммунизм сиял светлой зарёй человечества...

Зачем нужно было делать снимки покойного коммуниста, понять трудно. Поговаривали, что на этом настояла его престарелая матушка.

Всё было как всегда; для такого опытного фотографа сделать всю положенную серию снимков не составило никакого труда, а уж поминки превзошли все его ожидания. Плёнки, отснятые на гражданской панихиде, мастер лаборантам ателье не доверил. Сам проявил, сам и заперся в «тёмной комнате» для печатания фотографий. И вдруг все в ателье обратили внимание на то, что за черной занавесью, скрывающей дверь в лабораторию, установилась тишина. Это было удивительно, поскольку, возясь в лаборатории, Иван Николаевич всегда пел; а с особым воодушевлением после как раз траурных съёмок.

Трудовой коллектив, переглядываясь, подобрался поближе к чёрной занавеске, а вдруг с

человеком плохо; но тут занавесь театрально откинулась и в проёме в ореоле красного света показался сам мастер. В руках у него была мокрая фотография, а в глазах — ужас.

— Шевелённый, — деревянным языком возвестил он коллективу, протягивая снимок.

— Кто — шевелённый? — спросила приемщица.

— Он, — протягивая снимок, ответил мастер, — покойник — шевелённый.

Снимок пошёл по рукам, и у каждого, кто видел изображение, что-то ёкало в груди. На фотографии всё было как надо, всё правильно: красивый гроб на постаменте, партийные товарищи, скорбящие о безвременно покинувшем их руководителе, сам руководитель, солидно сложивший руки на номенклатурном брюшке, всё четко и безупречно резко... Но. Голова покойного была смазана! Казалось, что он повернул лицо к фотографу, словно бы проверить, правильно ли тот выполняет порученную ему работу.

— Такого быть не может! — категорически заявил директор ателье, — это ты, Николаевич, принял до поминок и напортачил!

— Ка-а-ак? — страдальчески воскликнул фотомастер, — как такое можно сделать? Этого даже специально сделать невозможно!

Факт, тем не менее, был налицо — покойный пошевелинулся!

— А может быть, кто-то за верёвочку дернул, — предположила симпатичная, но глупенькая, это все знали, приемщица.

— За какую верёвочку?! — схватился за голову директор, — сколько ты таких кадров сделал?

— Три, — совсем безжизненным голосом ответил Иван Николаевич, — и на всех трёх он шевелённый...

— Надо эту плёнку на экспертизу, — влез самый молодой лаборант Витя Зюзин, — ученым предъявить в Москву, чтоб объяснили феномен...

Из затруднительного положения вышли просто: для заказчика слепили сносный коллаж, а плёнку списали как производственный брак, и директор самолично порезал ее на мелкие кусочки, так же, как и фотографии «шевеленного». Но один снимок лаборанту Вите удалось сохранить. Витя часто смотрел на него, пыта-

ясь постичь феномен, даже увлёкся философией, он надеялся, что наступят времена, когда о таких вещах можно будет говорить открыто.

Однако, когда такие времена настанут, окажется, что это далеко не самое главное, что может занимать человеческую мысль. Витя, конечно, не знал и знать не мог, что через пару десятков лет начнётся ускорение, которое приведёт к ускоренному исчезновению товаров народного потребления, и в очереди за водкой можно будет запросто погибнуть, потом перестанут платить зарплату, а все проблемы примутся решать заряженной Аланом Чумаком в трехлитровой банке водой, потом... В общем, когда настанут более приемлемые для нестандартной философии времена, фотографию «шевеленного» в многочисленных пакетах со старыми снимками Витя отыскать не сможет. О чем будет очень и очень горевать. Ведь так обидно, соприкоснувшись с великой тайной природы, с загадочным феноменом, так и остаться в неведении.

5. БОЛЬНАЯ ДУША

Жизнь не давала Константину спуска, была под дых. Интеллигентный, научный, тихий Город всколыхнуло дикое происшествие: пьяный подонок изнасиловал и задушил пятилетнюю девочку. Девочка оказалась племянницей дяди Коли, и тот бродил по кулуарам театра словно тень — серый, сгорбленный, словно придавленный невидимой неподъёмной ношей. Константин пошёл с ним на похороны. Малышка лежала в гробу с таким обиженно-недоумённым выражением личика, что сердце отказывалось биться. Как?! Как такое возможно? Вот это — по образу и подобию? Вот это хомо сапиенс? Строители светлого будущего...

В толпе прощавшихся шептались:

— Нужно его всем народом казнить! Идти в милицию и требовать, чтоб выдали. А то и силой взять!

— Не получится. Его уже в Горький увезли от греха.

— От какого греха! Грех такую сволочь в живых оставлять.

— Ничего, таких там, на зоне, быстро на тот свет направят. Или сам, гад, повесится...

Когда над двором густо поплыл траурный марш, Константин не выдержал и, едва сдерживая слёзы, бросился прочь из толпы. Земля вновь ускорила, и ему пришлось прислониться к подвернувшемуся тополю. Он обнял ствол руками, зажался и застыл, не в силах сделать ни шагу.

Что заставляет нас жить несмотря ни на что? Мужество? Упрямство? Трусость? Надежда? Какая надежда?! Каждый из нас, и все мы отлично знаем, что в конечном итоге неизбежно умрём! Что однажды сердце перестанет биться, нас под плач родных и близких положат в тесный деревянный ящик и на третий день ящик этот будет опущен в свежерытую яму. И всё? И всё. Останутся фотографии, какие-нибудь никому не нужные письма, просроченные квитанции, бесполезные документы. Их тоже рано или поздно выбросят на помойку, и ветер будет носить по асфальту пожелтевший смятый листок «Справка дана...» или «Удостоверение выдано...»

А смысл?

Ранним тихим утром Константин сидел на скамеечке возле дома, когда к нему подсел чёрт. А может быть, дьявол. В нечистой силе парень совсем не разбирался. Да и кто в ней, прямо скажем, разбирается.

Чёрт выглядел шикарно — фрак, цилиндр, манишка и бабочка. В одной руке он элегантно держал белые шёлковые перчатки, в другой тонкую трость с серебряным набалдашником в виде собачьей головы. Он широко улыбался, посверкивая ослепительно белыми ровными зубами и странным образом был очень похож на Лошёного.

— Ну что, Константин, — искуситель с ходу приступил к делу, — будем продавать душу? Ты ведь хочешь всё узнать о подлунном мире и людей исправить желаешь. Всё просто, ты мне душу, я тебе всё, что эта твоя душа на сегодняшний день желает! Идёт?

Костя совсем не удивился. Вернее, удивился тому, что встрече этой не удивился. Словно черти каждый день заглядывают на часок в их Город, чтобы предложить кому-нибудь продать душу.

— Костя, дело житейское, — засмеялся чёрт, прочитав его мысли. — Ну, чёрт и чёрт, эка невидаль. Ты лучше обрати внимание на то, что именно к тебе я пришёл, а не к кому-то другому. Так мало кому везёт. Ты станешь в один ряд с Паганини, Троцким, Теслой и Имой Сумак... Ну, договоримся? Судьбу свою дальнейшую сам выберешь, я ничего не навязываю. Великий актёр, знаменитый писатель или художник. А хочешь, членом политбюро сделаю или директором московского ГУМа.

Чёрт был обворожителен и доброжелателен. Но хоть и сидел он рядом, разглядеть его никак не удавалось. Он казался то рыжим, то брюнетом, то седым... Глаза у него, как утверждает в книгах, должны были быть разного цвета, но как ни вглядывался Константин, не видел в них ничего кроме угольной пустоты.

Искуситель предлагал соблазнительные вещи. Делал, так сказать, предложения, от которых невозможно отказаться.

В конце концов он широким эффектным жестом вынул из пустоты перед собой лист пергамента и гусиное перо, конец которого набухал красной каплей.

— Ну, Константин, нужно решаться. Продашь жалкую свою больную душонку?

— Нет, не продам, — просто ответил Костя. — Душу продать нельзя, потому что душа — это я и есть. Нет души — нет и человека.

— Это ты своих бабушек суеверных наслушался, — с некоторым раздражением проскрипел враз потерявший своё добродушие чёрт. — А ведь, казалось бы, современный молодой человек, атеист... Вот скажи тогда, а Богу ты душу продашь?

Константин задумался.

— Нет, не продам, потому что нельзя продать то, что тебе не принадлежит. Душа и так принадлежит Богу.

— А какому богу принадлежит твоя душа? — осклабившись, едко спросил чёрт. — Иисусу, Будде, Аллаху, Кецалькоатлю или, может быть, Эйбиштеру?..

— Я не знаю, — пожал плечами Костя. — Они там сами разберутся.

— Небось ты бы самого сильного из них выбрал?

— Нет. самого доброго.

— Тьфу! — в сердцах плюнул чёрт. Пыхнуло белым пламенем, пахнуло серой, и дьявол исчез.

Открывая глаза, Костя всё ещё чувствовал неприятный резкий серный запах. Мимо скамейки брёл к сараю сосед с консервной банкой, из которой валил желтоватый удушливый дым.

— Всё, всем мышам капец, — пробормотал сосед, мимоходом глянув на Костю. — Ты, парень, задремал, что ли; совсем тебя на солнышке разморило. Шёл бы ты в тень...

Костя с трудом поднялся со скамейки. «Всё ясно — нет никакой Алёны, ничего нет. Может быть, и меня нет. Может быть, я и не выжил тогда...»

6. ОДНАЖДЫ

Куда делся остаток очередного лета, осень и долгая зима, Костю в общем-то даже не заботило. Больница, палата, вежливый, всегда улыбающийся доктор, таблетки, уколы, процедуры...

...День, когда Константин выбрался наконец-то в город, был совершенно обычным. Он ослабленно брёл по весенней улице, шурился на ошалелое щедрое солнце и всем телом чувствовал, что именно сейчас, вот-вот должна бы начинаться настоящая жизнь.

Он вспомнил, что ощущал однажды подобное почти в такой же вот апрельский денёк: невесомо развевались лёгкие белые занавеси на огромном окне, шумело невидимое море и чайки кричали за стенами санатория. Он лежал спелёнатый гипсом, почти не мог шевелиться, но кипящая радость переполняла грудь — он жив! И всё у него впереди...

Но теперь что-то в нём остановилось, никак нельзя было понять, зачем он тут, почему он остался в живых, что делать дальше? Ему даже снова захотелось испытать тот ужас падения, увидеть ослепительный свет, нырнуть в непроглядную тьму, из которой выплывали одно за другим странные видения; они витали в бескрайнем космосе его мозга, то успокаивали, то пугали, то обнадеживали. Что это были за видения, Константин уже не помнил, но ощущений, вызванных ими, забыть не мог. Ах, эти

неотвязные вопросы: кто и зачем привёл его в этот мир, кто и зачем сохранил ему жизнь?..

...Знакомая улица, родной Город, всё равно — по улице идёшь или по коридору из кухни в комнату в собственной квартире. Из окон бодрое радио, на пахучих ветвях городских топей скандалили бодрые воробьи. «С бодрым утром!» — мысленно улыбнулся Константин, но шагу не прибавил и не взбодрился, не желая отчего-то вливаться в общий трудовой среднедельный ритм. Быть полусонно оглушённым солнцем, одурманенным тополиным клейким запахом было в общем-то даже хорошо... К тому же теснилось в лёгких нечто непонятное, предвещающее что-то впереди — хорошее или плохое — не ясно.

Оно появилось буквально через десяток шагов... У тротуара остановился автобус с траурной каймой по серому борту, и водитель деловито распахнул створки задних дверей, которых не бывает в обычных автобусах. Из проулка вышли люди, и Костя невольно остановился. Несли гроб. В гробу лежал крупный покойник с чистым, светлым, слегка небритым и очень спокойным лицом. Нос индифферентно смотрел в голубенькое небо, а губы были сжаты в тонкую, едва намеченную ироническую усмешку. Знаю, мол, кое-что такое, что вам всем ещё только предстоит узнать.

Костю давно беспокоило это событие — смерть. То есть смерти он абсолютно не боялся, волновала не сама смерть, а что-то трудно понимаемое, что она за собой влечет. И даже не так. Мучил вопрос: куда уходит всё то, что наполняло человека, когда он был жив, куда всё это девается — мысли, чувства, идеи, страсти. Куда? Не верилось, что всё просто исчезает. Нет, конечно, Костя не верил ни в какие загробные жизни и реинкарнации, о которых любил порассуждать в свободные от возни на сцене минуты начитанный, всё больше тяготеющий к романтическому диссидентству дядя Коля. Но что-то же должно быть, какой-никакой смысл. Иначе — зачем?

Когда люди с чёрными повязками принялись грузить гроб в автобус, тот, видимо, за что-то зацепился и не шёл дальше, словно покойнику не хотелось туда, куда его собирались

отправить. Один из грузчиков, красный от натуги, просипел Косте:

— Парень, пособи!

Костя подставил плечо, гроб встал на положенное место, хлопнули дверцы, автобус пыхнул дизельным чадом, и через минуту улица опустела. Костя побрёл дальше. Ощущение ненадёжности, неуправляемости, неопределённости жизни не приходило; и даже не потому, что покойник из переулка стал для Кости неким неведомым сигналом, знаком. Седьмым чувством он понимал, что всё это естественно, не страшно и даже наверняка необходимо. Но невыразимо, невыносимо печально, если за этим ничего не остаётся. Не остаётся. Не остаётся. Не остаётся? Костя остановился. Его осенило; он даже и не представлял, что такое сильное чувство вообще возможно. Осенило удивительно — мощно, но парадоксально спокойно, без экзальтации и какого-то особого потрясения. Чувство было таким глубоким, что он забыл, куда и зачем шёл. Он ведь тоже в конце концов умрёт. Конечно, конечно, он всегда знал это, кто ж этого не знает. Но знал отстранённо, холодно — умом: Леонардо да Винчи умер, Ленин умер, погиб на потопленном броненосце «Петропавловск» любимый художник Верещагин, убит в джунглях Боливии пламенный Че Гевара; все умирают, и он умрёт. Но сейчас он понял это совсем по-другому, всем своим существом, всей душой, каждой клеточкой своего молодого тела. Это оглушало. Что теперь с этим делать? И для чего ему дали это понимание? И кто дал? Бог? А он есть — Бог?

Костя брёл по знакомой улице, не замечая ни игр доброго весёлого солнца, ни проклёвывающейся сладкой листвы тополей, ни голубей, гуляющих и усердно токующих на усыпанном крошками батона канализационном люке. Свежая ясность и прозрачная чистота этого дня ушли, он смотрел на город словно сквозь осколок зеленоватого бутылочного стекла, почти ничего не слышал, потому что, затаив дыхание, прислушивался к тому, что набухало в груди и зрело в голове после того короткого озарения. Появилась и крепла странная, взявшаяся ниоткуда надежда, что для него началась новая, неведомо куда уводящая жизнь...

...Вечером вернувшиеся с работы родители нашли на обеденном столе записку:

«Я уехал, не волнуйтесь за меня, со мной всё в порядке. Как устроюсь, обязательно напишу. Ваш Костя».

Паспорта и аттестата на месте не оказалось, лежали в секретере серванта в коробке с документами комсомольский билет, свидетельство о рождении, пожелтевшие медицинские справки да красный военный билет с бледной фиолетовой печатью поверх строчки «исключён с воинского учёта».

7. И ПРИШЛА ОСЕНЬ...

Налетел на Город шальной, неожиданно ветренный сентябрь. Обнес жёлто-красные клёны и тополя, растрепал холмики тлеющих, наметённых дворниками листьев, овеявая горьким туманом притихшие улицы, притащил за собой дождливый октябрь с нахохленными воронами на чёрных ветвях парковых лип и заберегами на засыпающей чёрной речке. А следом и ноябрь за окном погнал сквозь темень остаточные заледенелые листья, зашуршал по стеклу противным дождём вперемежку с колючей крупкой. Стало поздно светать и рано смеркаться...

Засидевшийся допоздна в кабинете Суслов открыл жёлтую папку с тесёмочками, вынул и покачал на ладони зеленую тетрадку, словно взвешивая ценность того, что заключено под ее потрепанными корками; папку, аккуратно завязав тесёмочки, вернул к другим таким же, а тетрадку поставил на полку между «Записками психиатра» Богдановича и двухтомником «Русалки в мифологии народов мира», который появился в кабинете, когда к нему попал тот странный пациент. Тетрадочку эту он время от времени перечитывал. Надеялся найти в ней что-то важное, ранее не увиденное, незамеченное, пропущенное. Не понятное... Что-то о том мире, в котором жил или думал, что жил мальчик, который должен был умереть, но не умер. Тетрадочку нашли и принесли Суслову родители Кости уже после того, как он пропал. Ничего особенного не было в этой тетрадоч-

ке. Всё в ней написанное можно было свести к больному, но банальному вопросу: в чём смысл жизни? Интересно, однако, было, какими замысловатыми оригинальными путями взрослеющий мальчик подбирался к этому главному для всех, но мало кого по-настоящему интересующему вопросу.

Суслов долго разглядывал вложенный в тетрадь рисунок. Птица с крыльями, похожими на языки пламени, устремлялась ввысь, в роящиеся звёздами фиолетовое небо, теряя горящие перья...

Пациент пропал; куда он уехал и жив ли, было никому — даже родителям — не известно. В истории болезни вместо точки навсегда останется теперь многоточие.

Суслов задумчиво смотрел за окно на ранние ноябрьские сумерки, когда вдруг почувствовал почти неодолимое желание прямо сейчас отправиться на берег Озера. Он даже сделал порывистый шаг к вешалке с пальто, но вовремя спохватился, громко и раздосадованно произнес вслух «Глупости!», сел за стол и придвинул к себе папку с очередной историей болезни...

Озеро совсем опустело. Давно улетели утки и ласточки-береговушки, ужи и ежи забились под корни, под колоды и уснули, уснули в норках ящерицы — Зелёная и Коричневая с первых заморозков перестали появляться на старой скамейке. Молодые летошние канюки покинули родительское гнездо и улетели искать новые уголья, а старая пара снова кругами парила над Озером, тоскливо перекликаясь. Зябкий ветерок гонял по тёмной водной глади последние кленовые листья. Снизу, в сверкающей ряби воды, они темнели, словно чёрные пятерни неведомых существ, обмакнувших свои лапы в похолодевшую воду.

Беззвёздными, безлунными ночами Озеро, не беспокоемое больше людьми, жило своей потаённой жизнью — скрипели по промозглой плотине тележки колёса, раздавался невнятный говор, кряхтело уставшее за сто лет мельничное колесо, вздыхал у воды старый мельник... Но едва над лесом лениво и сонно поднималось холодное солнце, ночной морок исчезал.

Ледяным забвением повеяло с севера, хрустким инеем сидели по ночам хрупкие тростинки

осоки и рогоза, неумолимым зверем подкрадывалась к Озеру лохматая безжалостная тоска. Рыбы, предчувствуя замедление ритма времени и заранее подстраиваясь под него, становились вялыми, ленивыми, словно бы осоловевшими. Канули в загустевшую торфяную тину пиявки и лягушки...

Тот Самый уже давно не появлялся на берегу, и сначала Алёна даже почувствовала тревогу и что-то вроде обиды, словно Тот Самый предал ее. Но чем холоднее становилась вода в озере, тем холоднее и отстраненнее становились мысли и о Том Самом, и о светилах, и о том, что с ней будет дальше. Да и есть ли она на свете? Она и сама теперь сомневалась.

Последний раз Тот Самый приходил на знакомый песчаный бережок ещё весной, привычно присел на свою ветхую скамейку и долго молчал, глядя в недвижную зябкую воду. Алёна, как всегда, почувствовала его и, подплыв к берегу, по привычке с надеждой смотрела на него сквозь холодную ещё воду. Но ниточки, прежде незримо связывающей их, не ощутила. Тоска и обида с неожиданной силой вспыхнули в ней там, где у верхних обитает душа. Она поняла: скоро он уйдет от берега навсегда и будет плавать в своем большом верхнем мире долго-долго, и тепло его тела не истает вместе с последним теплом будущей осени, и мысли его и дальше будут течь так же быстро и остро. А она уйдет, и сознание её все медленнее и медленнее будет откликаться на движения мира, и будет всё быстрее терять с окружающим зыбкую связь. Порыв этот был так силен, что неведомая сила пошла от нее в толщу воды, заставила качнуться огрубевшие стебли осоки, а на поверхности озера без единого дуновения ветра прошла крупная рябь. Но этот порыв был совсем коротким, и вместе с уходом мысли о Том Самом кончился и интерес Алёны ко всему, что ее окружало...

...Как и должно, однажды ночью ударил мороз, и на поверхности озера встала твердь. Алёна смотрела на тонкую полупрозрачную корку из глубины омота, и мысли ее всё замедляли и замедляли свой бег. И не было ни мира, ни светила, ничего такого, что могло бы вызвать движение жизненной силы в её бестелесье.

И она спокойно исчезла...

ПИСЬМО

«Здравствуйте, мои дорогие. Простите за то, что причинил вам столько забот и печалей. У меня теперь всё хорошо. Я поступил в Одесскую духовную семинарию. Специально подальше от Города, чтобы не навредить вам (никому не рассказывайте об этом). Здесь, кроме меня, ещё одиннадцать человек, почти все бывшие комсомольцы, а трое даже с высшим образованием. Особенно близко я подружился с Петром, он старше меня, воевал на какой-то войне (не рассказывает, на какой) и даже был награждён. Там, на войне, он понял, что если Бога нет, то и смысла в этой жизни нет никакого, как ни ищи.

Он, Пётр, интересную вещь мне сказал: «Жить нужно так, чтобы умирать было жалко, но не обидно». Как это точно!

Да, кстати (или некстати), оба крестика, что подарили мне бабушки, по-прежнему у меня, в целости и сохранности.

Не знаю, что будет дальше, но плохого, надеюсь, уже больше не будет. И у вас, знаю точно, всё будет хорошо.

Велосипед мой при случае отвезите в Село и отдайте Деду, пусть ездит на нём в лес за своими травами. И скажите ему от меня: «Я знаю». Он поймёт.

Передавайте привет всем, кого увидите, особенно доктору Суслову — он как-никак долго со мной возился; и дяде Коле — надеюсь, он всё ещё в театре. Только никому ничего не рассказывайте.

Приезжать сюда ко мне ни в коем случае не нужно. Я вас люблю и уверен (не могу объяснить, почему), что однажды вернусь в Город и мы крепко обнимемся с вами.

Храни вас Бог.

Одесса. Апрель 1985 г.»

* * *

«Святейший Патриарх Алексий II, обращаясь к молящимся, сказал:

— А ещё хочу, дорогие мои, сообщить об одном необычном явлении, которое Господь даровал нам в эти дни: обретенны мощи преподобного и богоносного отца нашего Серафима, Саровского чудотворца!»

(«Журнал Московской Патриархии», 1991 г.)

Александр Алексеевич ЛОМТЕВ

родился в 1956 году. Прозаик, поэт, публицист. Автор восьми книг

прозы и книги стихотворений. Публиковался в журналах «Нева»,

«Сибирские огни», «Роман-газета», «День и ночь», «Крещатик»,

«Север», «Подъём», «Южная звезда», «Новый берег», «Журналист»,

«Офицеры» и др. Лауреат премии Союза писателей России,

Международной премии им. А. Куприна, финалист Бунинской премии в

номинации «Открытие года» и др. Лауреат премий журналов «Нева»,

«День и ночь», автор года журналов «Журналист»

и «Чудеса и приключения».

Член Союза писателей России, заместитель председателя

Нижегородской организации СПР.

Директор ООО «Информационное агентство «Саров».

Живёт в городе Сарове Нижегородской области.

